

**МИХАИЛ АЛЬБОВ, КАЗИМИР  
БАРАНЦЕВИЧ**

# **ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ**

Михаил Альбов

**Вавилонская башня**

«Остеон-Групп»

**Альбов М. Н.**

Вавилонская башня / М. Н. Альбов — «Остеон-Групп» ,

ISBN 978-1-77246-648-5

«История возникновения, существования и падения одного фантастического общества», – уточняют заголовок своего романа авторы. Но в реальности сделали они намного больше, чем собирались. Собирались написать смешной романчик о попытках графоманов пролезть на Олимп мировой славы, а получилось грандиозное художественное полотно, в котором нашлось место и сатире, и юмору, и смеху, и слезам, и реализму, и фантастике. Превосходный, строжайше запрещённый к переизданию в «совковые» времена, едкий и искромётный роман из жизни околотитературной богемы конца 19-го века, со множеством узнаваемых типажей, крутыми поворотами сюжета, любовью, пьянками и стрельбой... Короче, дочитаете до эпилога – и всё поймёте.

ISBN 978-1-77246-648-5

© Альбов М. Н.  
© «Остеон-Групп»

## Содержание

ПЕРИОД ПЕРВЫЙ. Собираются строить.	6
I. О том, как и с какой целью два молодых незнакомца блуждали по Невскому и что из этого вышло.	6
II. У поэтического очага.	15
III. Начинание	18
IV. Поэт с древесными псевдонимами	24
VI. О том, как из малых причин готовятся возникнуть какие-то большие последствия	35
VIII. Красный флаг.	47
IX. Где читателю предлагается, для восприятия содержащегося в этой главе, изодрить и напрячь своё воображение, чтобы представить себе нижеследующее в драматической форме.	53
X. Глава краткая и скоропалительная, но, тем не менее, необходимая.	60
XI. Где изображается благородный, солидный и чиновный страдалец.	62
XII. На мрачном небосклоне страдальца восходит звезда.	66
Конец ознакомительного фрагмента.	68

# Михаил Альбов и Казимир Баранцевич

## Вавилонская башня

© Л.Моргун. Лит. адаптация, примечания, 2018.

\* \* \*

*И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжём огнём; и стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести.*

*И сказали они; построим себе город и башню высоту до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу вся земли.*

*(Первая книга Бытия, XI, 3 – 4).*

## **ПЕРИОД ПЕРВЫЙ. Собираются строить.**

### **I. О том, как и с какой целью два молодых незнакомца блуждали по Невскому и что из этого вышло.**

Весёлое апрельское солнце проливало с высоты ясного петербургского неба потоки живо-творящего света. Невский проспект пестрел нарядными толпами гуляющих. Повсюду журчали ручьи и гармонический звук лопат дворников сливался с щебетаньем пернатых певцов воро-быной породы... Бежала собачья свадьба. Был полдень... Всё ликовало.

На углу Невского и одной из прилегающих к нему улиц появились два молодых незна-комца... Откуда они появились – всё равно: на течение дальнейших событий это отнюдь не влияет. То уже важно, что они появились теперь, перед благосклонным взором читателя, кото-рый с этой минуты обязан не упускать их из виду, так как с них-то, этих двух молодых незна-комцев, и распочинается вся эта, имеющая совершиться, история.

Один был длинный, с маленьким, в виде луковки, носом; другой – коротенький, с носом, напротив, большим, и величественным. Несмотря, однако, на всё таковое несходство, это отнюдь не мешало им быть в дружелюбных отношениях, судя по обоюдным их между собой разговорам.

Очутившись на перекрёстке, они остановились, как по команде, и вперили друг в друга вопросительный взор.

– Куда же мы теперь? Здесь будем искать или перейдём на ту сторону? – спросил коро-тыш, медленно описывая носом дугу по направлению от Знаменья к Адмиралтейству.

– Мм... – промычал длинный. – Пойдём здесь, а не то перейдём...

– Да решай же, наконец! Что же мы будем стоять-то?! – воскликнул коротыш нетерпе-ливо.

– Я думаю вот что, – заговорил медленно и с расстановкою длинный, – не лучше ли нам пока тово?

Он кивнул таинственно головою направо.

– Что?

– Зайти бы вон туда и – вонзить...



Несмотря на свирепую форму этого странного предложения, лицо коротыша выразило, вместо испуга, совершенно обратное ощущение: сочувствие, однако, как бы смешанное с сознанием долга. Выразительное лицо его отражало мучительный процесс, происходившей в его сердце борьбы... Наконец он, очевидно, сделал над собою усилие гигантским напряжением воли и твёрдо воскликнул:

– Вздор! Это значить опять налижаться... Идём на ту сторону!

И он быстро сошёл с тротуара. Длинный подавил в себе вздох и устремился за ним.

Уподобляясь пловцам, ринувшимся в бурный поток, они ныряли между лошадиными мордами, колёсами экипажей и мчавшимися сломя голову конками. Длинный шагала методично, как цапля. Коротенький семенял за ним петушком. Наконец они очутились на той стороне.

Остановившись перед воротами дома, они опять, как и давеча, обменялись между собой вопросительным взглядом.

– Сюда, что ли? – спросил коротенький.

– Ну, хоть сюда, – ответил ему длинный.

И оба скрылись в воротах.

Немного спустя, они опять очутились на улице. Они шли безмолвно. Поравнявшись с воротами соседнего дома, они опять скрылись на несколько времени и снова опять появились. В следующих воротах повторялась та же история, а затем опять и опять.

Слишком долго и скучно было бы описывать последовательно все эти исчезновения в воротах и появления снова на улице наших двух незнакомцев. Скажем только, что это повторилось ими неукоснительно у каждого дома, вплоть до самого Аничкина моста.

На мосту они остановились. Длинный незнакомец стоял бледный, с нависшими на лоб косицами мокрых от поту волос, прислонившись к гранитному подножию бронзовой группы скачущего в воздух коня и барахтающегося у ног его голого всадника. Он блуждал окрест измученным взором. Коротенький товарищ его был пасмурен, красен, как рак, и злобно глядел на ляжки голого всадника.

– Чёрт поberi! Это просто несчастье! Ничего подходящего! – простонал длинный, дрожащими перстами влагая в уста свои папироску и протягивая другую товарищу. – Устал я, как пёс!

– А я, ты думаешь, нет? – спросил его коротыш, свирепо чиркая спичкой. – Чёрт меня дёрнул связаться с тобою!!.. Вот у меня опять катар разыгрался!

Оба поникли долу, держа в зубах папироски.

Протекло несколько безмолвных секунд.

– А знаешь что?! – воскликнул коротенький радостным голосом.

– Ну?! – оживился и длинный.

– Оба мы дураки! На Невском, видно, совсем толку не будет!

– Да, это уж видно... – вздохнул сокрушённо товарищ.

– Знаешь, где бы нам начать следовало? – все более радостным голосом продолжал коротыш.

– Ну?

– В Пушкинской улице!! Что ты скажешь на это?

– Хм... Я устал!..

– Тьфу! Чёрт с тобой, коли так!

– Да что же, пожалуй... Пойдём...

Оба тронулись с места и обратились вспять. В походке их обнаруживались уже ясные признаки утомления. Длинный не подымал ног от земли, подобно цапле, как раньше, а бессильно влачил их. Коротенький, хотя и семенял, как и прежде, но уже спотыкался. Оба мрачно продолжали течение к Пушкинской.

Наконец, они завернули в эту узкую, шумную, с громадными пятиэтажными домами, улицу. Энергия их как будто оставила. Они проходили мимо ворот, бросая во внутренность их короткие и небрежные взгляды, как бы в безмолвном соглашении, что и тут нет «ничего подходящего». Наконец, пройдя уже несколько домов, коротенький остановился у одних железных ворот и воскликнул:

– Сюда! Если и здесь неудача – тогда это уж чёрт знает что!

Длинный повёл по сторонам нерешительным взором и произнёс:

– Знаешь ли что? Не лучше ли оставить до завтра?

– До завтра-а? – вскричал коротыш с неопишным гневом. – Это ещё что за выдумки? До завтра!! – заорал он на всю улицу; – Вот превосходно! Целый день ломали ноги, ищем, может быть, здесь и конец – и вдруг до завтра! Слуга покорный! Я завтра не пойду, с места не тронусь... Вот что!

Длинный грустно посмотрел на короткого.

– Ну, уж, если ты так хочешь... – начал он.

– Не я хочу, ты хочешь! – с горячностью перебил коротыш. – Ведь, ты для себя ищешь? Для тебя я пошел?.. Ну, и идём!

– Идём! – с покорностью согласился длинный.

Они вошли в ворота и направились по лестнице. Лестница была до того узка, что идти рядом не представлялось возможности. Коротыш шёл впереди, длинный плёлся сзади. Царил полумрак. Поднимавшийся снизу с вязанкою дров дворник ткнул головою длинного под поясницу и чуть не сшиб его с ног. Коротыш наткнулся на целое полчище кошек, отдавлив одной из них хвост и взвизгнул от ужаса. Они поднимались всё выше и выше. Коротыш ругался, длинный вздыхал.

– Послушай, – угасшим голосом простонал длинный: – Да ведь это под небеса!

– Ну, да, под небеса! – свирепо буркнул короткий. – Что ж из того, что под небеса?

– Я устал...

– А я – нет, полагаешь?

Оба молча поднялись ещё на один этаж.

– Нет, дальше я не пойду! – неожиданно решил длинный, круто поворачивая назад.

– Послушай, не дури! Что за вздор?

– Совсем не вздор! Я задохся.

– А у меня живот болит, а я вот всё же иду. Ну, ещё немножко!

– Не пойду!

– Да ведь это же свинство, послушай! Ведь сейчас и конец... Ну, ещё... Ну, вот, и пришли... Вот и 197-й номер – фу-у!

– Фу-у-у! – протянул и его товарищ.

Оба стояли теперь перед дверью, обитой опрятной чёрной клеёнкой, с металлической ручкой от колокольчика и шумно переводили дыхание.

– Звони... – слабо пролепетал длинный незнакомец.

Коротенький его товарищ дрожащими перстами потянул к себе ручку. Послышался слабый звук изнутри. Оба прислушались. За дверью всё было тихо.

– Ещё позвони, – простонал длинный.

Коротыш повторил прежний манёвр, по уже энергичнее, после чего раздался пронзительный звон, в ту же минуту послышалось быстрое шлёпанье откуда-то из глубины стремительно бегущих чьих-то ног и вслед за тем восклицание:

– Ах ты, каналья! хоть сдохни, не отворю!

И затем за дверью всё стихло...

Оба незнакомца стояли друг против друга, обмениваясь глубоко недоумевающим взглядом.

– Это что же такое? – прошептали они, в одно слово.

– Вероятно, недоразумение, – объяснил коротыш и позвонил повторно.

Раздалось шлёпанье тех же ног, и затем прежний голос крикнул ещё раздражительней:

– Говорят, не пушу! Мерзавка! Я тебя выучу!

– Недоразумение очевидное! – пробормотал коротыш и громко воскликнул: – Послушайте! Послушайте!

– А? что? – откликнулись за дверью.

– Отворите пожалуйста! – воскликнули в один голос тот и другой незнакомцы.

– Ах, извините... Я думала, это Матрёна!

В ту же минуту дверь отворилась и за нею обнаружилась бледная, довольно уже измождённая дама, в белом пеньюаре, с чёрными, жгучими глазами, с несколько взбитой причёской темных, почти чёрных волос. Ворот пеньюара был отстёгнут на одну пуговицу, и дама конфузливо прикрыла шею рукою.

– Извините пожалуйста... Я думала, это Матрёна... Кухарка... – пела перед ними измождённая дама, делая реверансы. – Что вам угодно?

– Здесь сдаётся комната? – спросил коротыш.

– Здесь, здесь, пожалуйста!

Незнакомцы вошли. Дама стояла, запахивая рукой пеньюар и обдавая обоих своим жгучим взглядом.

– Вы оба будете жить? – спросила она с обворожительной улыбкой.

– Нет, нет, один! – поспешно сказал коротыш.

– Один? Кто же из вас?

Жгучий взгляд дамы скользнул по длинному носу одного и остановился на луковицеобразном другого.

– Вот, он. – указал коротыш на длинного.

– Ах, очень приятно! – улыбнулась дама; – пройдите, пожалуйста, вот тут, по коридору... У вас калоши?

– Нет.

– У меня так чисто! Я люблю чистоту. Я всё сама... хозяйничаю, убираю! У меня одна прислуга... Но вы знаете нашу прислугу?!.. У меня вот Матрёна... Представьте. какая мерзавка! Я послала её с полчаса назад в лавочку... Далеко ли? И, представьте, её всё ещё лет! И так постоянно! У неё, знаете, повсюду любовники! Я думала, что это она позвонила, и просто хотела её наказать... Ах, какая это прислуга! Но вы, конечно, её хорошо знаете сами...

– Вашу Матрёну? – с удивлением спросили оба молодые незнакомца.

– Ах, нет, я вообще говорю. Прислуга наша... Вот комната!.. Войдите, войдите, пожалуйста! Комната чистенькая, светленькая... Вам будет удобно. И как чисто. Неправда ли, чисто?

Они стояли теперь в довольно просторной комнате. В ней, действительно, не было ни соринки, и вдобавок ни малейшего намёка на мебель, а лишь одни голые стены.

– Неправда ли, чисто? – спрашивала дама со жгучими глазами, запахивая рукой пеньюар.

– Гм... действительно, чисто! – сказал, наконец, коротыш.

– Гм... чисто, действительно! – повторил за ним длинный.

– Вам нравится? Да? Неправда ли? О, у меня вам будет удобно! Вы у меня можете и кушать! Я сама готовлю.

– Я обедаю в ресторанах, – пробурчал длинный. – а только вот что скажите мне, пожалуйста: на чем же я буду спать?

– Ах, как же, ведь у вас будет мебель! Она покамест не куплена... Мы только что обзаводимся... Мы сперва жили в комнатах... А теперь обзаводимся! Муж каждый день покупает... Как же!.. Вот и теперь он поехал на рынок. У вас будет всё! И кровать, и стол, и кресло... Как же, всё-всё у вас будет! А пока мы можем вам дать свой диван...

– Гм... – сказал коротыш.

– Гм... – сказал длинный.

– Ну, а сколько вы хотите за комнату? – спросил коротыш.

– Пятнадцать рублей. Недорого? Правда?

– Гм... – сделал опять коротыш.

– Гм... – повторил за ним длинный.

– А если двенадцать? – спросил коротыш.

– Да, в самом деле, если двенадцать? – оживился и длинный.

– Ах, нет, за двенадцать я не могу! – жалобно отвечала дама со жгучими глазами. – Судите сами. Мы платим за квартиру тридцать пять, а комнат всего три. Ах, как дороги теперь квартиры, если бы вы знали!!

– Хорошо я дам пятнадцать! – решительно сказал длинный. Он почувствовал толчок в бок локтем товарища. но не обратил на это внимания и настойчиво повторил: – Да, я дам вам пятнадцать!

– Вот и отлично! Вот и прекрасно! А когда переедете?

– Когда перееду? – переспросил наниматель и, почувствовав снова толкание локтем, воскликнул совсем энергично: – Да вот сегодня же и перееду!

– Сегодня? Ах, вот блаженство! А я велю вымыть пол...

– А диван? – мрачно спросил коротыш.

– И диван сегодня поставим. Позвольте, как ваша фамилия?

– Мехлюдьев. – сказал длинный.

– Извините... Вы служите?

– Нет, не служу. Я – литератор. И он тоже вот литератор... Скакунковский. Оба мы литераторы.

– Литераторы?! – взвизгнула дама и даже забыла предосторожность на счёт пеньюара, последствием чего было то, что Мехлюдьев скромно потупил взор, а Скакунковский весь побагровел и глаза его замаслились, как у кота, увидавшего сало...

– Литераторы! Боже, какое блаженство! – вопияла восторженно дама со жгучими глазами. – Ведь мой муж – тоже литератор, представьте! Он – поэт, известный поэт! – добавила она с гордостью. – Нюняк! Вы знаете? Читали! Нюняк! Известный поэт Нюняк! Он пишет во всех иллюстрациях! У него масса псевдонимов! Ветлин – это он! Ивовый Прут – тоже он! Дубовая Почка – опять он! Всё он!! Поэзия! Поэзия! Это моя жизнь! Ах, как я люблю поэзию! Если бы вы знали...

– Прощайте! – внезапно отрезал Мехлюдьев. Он протягивал к даме правую руку, держа в ней за кончик трёхрублёвую бумажку. – Задаток! – лаконически пояснил он. – Прощайте! – прибавил ещё раз Мехлюдьев и круто повернулся к дверям.

Вид его был мрачен, уныл и даже свиреп.

Пока Скакунковский расшаркивался перед дамой с жгучими глазами, которая делала перед ним реверансы и пленительно ему улыбалась. Мехлюдьев достиг уж прихожей и вступил в сражение с крюком у дверей, который упорно противостоял всем его усилиям освободить выход на лестницу. Выйти же как можно скорее было необходимо. В кухне стоял теперь удушливый чад пригорелой говядины, который синими клубами нёсся от плиты, где что-то шипело, скворчало, бурлило, всё пуще и пуще распространяя зловоние и проникая в прихожую...

– Боже! Бифштекс!!..

Это был вопль дамы с жгучими глазами, ринувшейся, подобно пантере, к плите.

– Подгорел! Испорчен!! – ломала в отчаянии руки подруга поэта. – Что я буду делать теперь? Нюничка бедный! Как я подам ему подгорелый бифштекс! Нюничка так, привык кушать в эту пору бифштекс! И вот теперь он придёт, с минуты на минуту он должен прийти и вдруг нет бифштекса! Это ужасно!!.. Сама виновата: заговорила тут с вами, а про бифштекс и забыла! И всё из-за чего? Всё из-за проклятой Матрёны! Ну уж теперь лучше она мне и на глаза не попадайся! Покажу я ей, как по любовникам бегать! Ах, извините, пожалуйста! Но, право, я так, расстроена, – волновалась дама с жгучими глазами.

– Ну что ж ты застрял? – шептал Скакунковский, толкая в дверях под локоть приятеля.

– Да вот этот крюк анафемский... Чтоб ему лопнуть! – свирепо проскрежетал Мехлюдьев, продолжая сражаться.

– Ах, вам не отворить!.. – подлетела к ним огорчённая дама – Вот так надо, сюда!

И привычной рукою открыв для приятелей выход на лестницу, она нашла в себе ещё сил подарить их обоим пленительной улыбкой.

– До свиданья... До вечера, следовательно? Я так, право, рада!.. Писатели! Муж мой – поэт! Это будет блаженство!.. Ах, как я расстроена, если б вы знали!

И наградив обоим приятелей последним рукопожатием, дама с жгучими глазами исчезла в синих волнах бифштексного чада, которые хлынули вслед уходившим писателям и пеленой разостлались по лестнице...

– А знаешь, что? Твоя хозяйка... – нарушил было первый молчание Скакунковский, но в ту же минуту осёкся.

На площадке лестницы, в двух шагах от приятелей, виднелась прижавшаяся к стенке женская фигура. в одном платье и с платком на голове. Она смотрела на них любопытным и, как показалось Скакунковскому, вызывающим взглядом. В подобных случаях он всегда чувствовала трясение в поджилках...

– Гм! – сказал он и, остановившись, толкнул в бок Мехлюдьева; – закурим!

Пока тот совался по карманам, отыскивая папиросы, он молча впился глазами в стоящую перед ним незнакомку.

Она была молода. Пышные груди колыхались под лифом ситцевого (и нужно сознаться, довольно грязного) платья, как бы от скорого восхождения по лестнице. Маленький нос был задорно вздёрнут несколько кверху. Влажные, серые глазки глядели бойко и весело... Жёлтый, дырявый (тоже надо признаться) платок её развязался и из-под него выбились пряди густых, тёмно-русых волос, скользя по румяным, пышущим здоровьем щекам... Она дышала глубоко и скоро и чем-то напоминала вакханку...

Скакунковский как-то весь точно замаслился, побагровел и издал какой-то особенный звук, бывший одновременно и рычаньем и вздохом...

– Гм! Какая милашка!! – пробормотал он, не спуская глаз с женщины в жёлтом платке.

Та хихикнула, закрылась рукавчиком и, бросив на Скакунковского многообещающий взгляды устремилась к квартире № 197. Дверь этой квартиры оставалась отворённой настежь и из неё по-прежнему валил синий чад, в котором молодая вакханка тотчас же и скрылась.

– С-славная девка! – сладостно пролепетал очарованный Скакунковский, смотря ей вслед, и тотчас же вскрикнул тоном открытия: – А знаешь ли что? Это ведь наша Матрёна!

И действительно, в ту же минуту в квартире № 197 послышался пронзительный вопль, затем как бы возня – и женщина в жёлтом платке вылетела стремительно, как пуля, обратно на лестницу, а за спиною её мелькнули две распростёртых руки в пеньюаре, которые в ту же минуту захлопнули дверь.

Вслед затем произошёл диалог.

Начался он с того, что женщина в жёлтом платке, постояв несколько времени перед запертой дверью, робко протянула руку к колокольчику и позвонила.

В ту же минуту за дверью раздался голос дамы с жгучими глазами:

– Кто там?

– Я, – отвечала женщина в жёлтом платке.

– Кто я?

– Матрёна, сударыня.

– Да ведь я тебя выгнала!

– Да за что же, сударыня?

– За что? Ах ты, подлянка! Ах, ты, мерзавка! У неё полон двор любовников, а она ещё спрашивает за что! Иди к своим любовникам, иди! Ты зачем пришла? А? Понимаю! Ну так ступай, шлейся где хочешь, потаскуха противная!

– Простите, барыня, я больше не буду.

– Тебя простить? *Тебя?*.. Ни за что! Баринов бифштекс сгорел, жильцы приходили, а ты у любовника была! И тебя простить? Н-ни за что!! Вот, погоди, барин придёт, он тебя рассчитает! Уходи, уходи, куда знаешь!

Голос дамы смолк и на площадке стихло.

Литераторы спустились на несколько ступенек ниже по лестнице, но не успели они дойти до следующей площадки, как сверху опять раздался звонок, и знакомый голос дамы с жгучими глазами спросил:

– Кто там?

– Пустите, барыня! Ей-Богу, в последний раз!

– Врёшь, потаскуха? Ты сколько раз говорила, что в последний раз и каждый раз делала то же... Жди барина!

– Что ж я, на лестнице, что ли, буду ждать?

– Где хочешь! На лестнице, под лестницей, – мне что за дело!

– Простите, барыня! Ей-богу же, в последний...

– Уйдёшь ты или нет? спрашиваю я тебя наконец...

(Пауза).

– Уйдёшь, или нет?

(Пауза).

– Это невыносимо становится! От этого чада у меня голова разболелась! Понимаешь ли ты, проклятая, что у твоей барыни из-за тебя голова разболелась?!.. Чёрт с тобой, теперь уж прощаю, но смотри, в другой раз...

Громыкнул крюк, прошуршала клеёнка отворённой двери – и на лестнице всё смолкло...

– Какова сценка? А? Жанровая? – сказал Скакунковский.

– Н-да... Жанровая... – сквозь зубы пробормотал Мехлюдьев.

Он был ещё более мрачен, и глубокие думы бороздили морщинами его лоб под нависшими косицами волос.

Скакунковский был, напротив, весел и оживлён.

– Какова хозяйка-то, хозяйка-то, а? Вот потешная баба!.. «Поэзия – жизнь моя»!.. Ха-ха-ха! Нет, тебе у них будет превесело!.. Каков-то поэт этот самый, который в иллюстрациях пишет... Как его? *Ветлин, Ивовый Прут, Дубовая Почка*... Деревесные все псевдонимы... Потеха! Счастливец ты, право (трещал без умолку Скакунковский). Ты, вот, ничего не замечаешь, что у тебя под носом делается, а я проницателен! Ты, небось, не заметил, какие она на тебя взгляды бросала?.. О, я её тотчас раскусил! Этот канальский пеньюар... Клянусь, чем угодно, что она нарочно пуговицу расстегнула... Я, брат, проницателен, я чертовски проницателен!.. Мой совет – будь с ней осторожен!.. Ха-ха!.. А Матрёна-то, Матрёна! Какова? Славная штучка, ведь, а? Неправда ли, а?.. Ведь очень годится?.. Да куда тебе, впрочем... Ведь ты размазня!.. Вот если бы я... Эх, если бы я не был женат!.. Как сыр бы в масле катался... Я бы, небось, уже маху не дал!.. – семенил и метался то с правого, то с левого боку приятеля совсем расходившийся коротыш.

Они уже были на улице, и вдруг он заскакал, забрызгал и повлёк приятеля за рукав, восклицая:

– Посмотри, посмотри, какая хорошенькая! Вон там, в белой шляпке с синими лентами... Не видишь? Эх, какой ты! Пойдём поскорее!

Он поволок его было за собою, но вдруг остановился, побледнел и с убитым видом поник головою.

– Что с тобою?

– Катарр... – прохрипел Скакунковский угасшим голосом, – опять катар разыгрался... И вот опять гланды... Вот и гланды бьются... Ах я, несчастный!

– Хм... Вонзим по одной... – предложил Мехлюдьев.

Скакунковский безнадежно махнул рукой.

– Куда уж... Приду домой и горчичник поставлю... компресс... Ты налево? Ну, а мне направо... Прощай...

И с лицом умирающего он подал руку приятелю и поплёлся в сторону к Лиговке... Мехлюдьев зашагал по направлению к Невскому...

День склонялся уж к вечеру. Косые лучи заходящего солнца скользили по крышам и стенам домов, отливая пурпуром и золотом. С каким-то захлёбывающимся восторгом чирикали воробьи. Деревца маленького садика, что посреди Пушкинской улицы, приветливо кивали прохожим своими, пока ещё голыми, прутьями, на которых появились, однако, уже почки... Люди сновали взад и вперёд... Дребезжали дрожки, грохотали кареты...

А Мехлюдьев был по-прежнему мрачен. Он шагал насупившись, уставившись в землю и не глядя по сторонам!.. как будто весь мир с его радостями не существовал для него...

Отчего он был мрачен? У Скакунковского, положим, катар, но отчего же Мехлюдьев-то мрачен? спросит, может быть, наш, благосклонный читатель... Разрешение этих вопросов он найдёт в следующей главе.

## II. У поэтического очага.

В 8 часов того же дня. Мехлюдьев уже «обитал» нанятую им комнату, в квартире № 197. Мебели в ней по-прежнему ещё не было, но зато, согласно обещанию хозяйки, стоял новенький, с молоточка, крытый ситцем, диван – и «обитание» Мехлюдьева. самой силой вещей, могло выражаться только в форме тех занятий, которым он в тот момент предавался.

А именно, он лежал на диване, этом единственном во всей комнате, удовлетворяющем привычкам всех цивилизованных обществ предмете, напоминая всем своим положением мореплавателя, застигнутого штилем среди водной пустыни, и уныло взирал на брошенный посреди комнаты свой чемодан.

Если жильца можно было сравнить с мореплавателем, то чемодан его этот самый уже неизбежно следовало уподобить одному из тех обломков, которые носятся по морю, после того как потерпевший крушение корабль опустился на дно.

О, как стар, измождён был этот бедный, четырехугольный товарищ Мехлюдьева, этот безмолвный свидетель многих безрадостных дней его скитальческой жизни!.. Бедный, верный товарищ! Давно, уж давно он утратил и форму былую, и цвет первобытный, каковые имел во дни своей юности, когда он, ещё свежий и девственно-чистый, куплен был на Апраксином рынке!.. Кто из учёных, будь-то Нибур, Шампольон, Момзен или, чёрт знает как их ещё там зовут, всех этих знаменитых археологов, историков и прочих учёных мужей, кто из них, повторяем, будь он хоть семи пядей во лбу, хоть трудись от рожденья над исследованием ниневийских и помпейских раскопок – мог бы определить и назвать, не боясь ошибиться, материал, из которого он (т. е. чемодан, конечно, а не учёный муж) был некогда сделан? Какая именно кожа послужила для его оболочки и – идём даже дальше – точно ли именно кожа, а не что либо другие? Мы уверены, что все эти вопросы его (т. е. не чемодана уже, а учёного мужа, конечно) поставили бы непременно в тупик!

И он, этот бедный инвалид, как и хозяин его, был тоже скиталец... Сколько стен и полов обшаркал он своими боками! Сколько дождей и снежных метелей выдержал он, ныряя по мостовой петербургской, служа сиденьем извозчику, и претерпевая толчки от тяжёлых его сапожищ!.. Он выглядел таким хилым измученным старцем!.. Те медные, красивые шляпки гвоздей, который предназначены были его украшать, давно уже выпали... Скобы сломались... Сломались и те деревянные планки, которыми было подбито некогда дно, точнее, их совсем уже не было... Замок был давно уж оторван и его заменяла просто, обхватывавшая по всем направлениям корпуса хилого старца бечёвка... И вот теперь, сиротливо торча посреди пустынного пола, он глядел на унылую фигуру лежащего на диване хозяина, и из разверстого зева его, откуда лезло голенище сапога, манжетка крахмальной сорочки и край какой-то рукописи – казалось, излетала скорбная жалоба: «Доколе, доколе, о Господи?!...»

И лежащий на своём одиноком диване хозяин его отвечал ему в свою очередь глубоким, исполненным мрачного отчаянья вздохом, потому что и сам он, увы, вот уж сколько лет всё не может решить: когда же, когда, наконец, снизойдёт и в его мятежную душу покой?!..

Там где-то, в кухне монотонно журчала вода из-под крана, а думы Мехлюдьева все больше и больше свирепели, можно сказать, в унылом своём направлении.



Тяжёлая, скверная штука жизнь человеческая! Что может в ней порадовать душу? Деньги? Дружба? Женская любовь? Чепуха! Чепуха и тлен!.. Деньги истрачиваются, друг может оказаться свиньёй, женщина наставить рога... Он всё это знает, он ни во что это не верит, и вот почему это не может удовлетворить его великой души... Да, великой! Он может гордо, с полным сознанием права, сказать самому себе, что он, Мехлюдьев, обладает великой душой!.. Разве нет? А его захватывающие, грандиозные планы?.. А этот огонь, этот неугасимый, палящий, адский огонь, который, как пламя вулкана, сжигает днём и ночью всю его душу?.. И это огонь не низких страстей, не презренной наживы, – а тот святой, чистый огонь Прометея, который он похитил с небес – огонь великой творческой деятельности!!.. И пусть он пылает, этот огонь, пусть он сожрёт без остатка всё его существо... Да, да, он это знает, что огонь этот сожрёт, сожрёт, сожрёт (сучил кулаком в воздухе Мехлюдьев)!! Пусть он сожрёт без остатка, пусть от Мехлюдьева останется труп... но этот труп жить будет вечно... тьфу, не труп собственно, а имя, великое, лучезарное имя беллетриста Мехлюдьева, которое останется в наследство потомкам!.. Да, оно останется, останется. Чёрт побери!!

(В этих случаях Мехлюдьев всегда ударял кулаком по столу, ударил бы он и теперь, но так как упомянутого предмета под рукой не оказывалось, то недостаток его с успехом восполнила спинка дивана).

А что имя его будет жить – он останется в этой уверенности до последнего часа! Ведь рано или поздно, а он создаст, наконец, гениальную вещь! И он знает, что ему для этого нужно. Ему нужен покой, да, полный, абсолютный покой! Все великие вещи созидались только при этом условии... Данте писал в монастыре. Тассо в тюрьме... Гм... положим, тюрьма – это уж слишком... Но всё-таки ему-то, ему-то, Мехлюдьеву, нужен покой! И как давно уже он стремится к покою! Ради покоя он чуть ли не каждую неделю меняет квартиры, и вот эта самая обнажённая комната, в которой он теперь лежит на диване, по счёту, начиная с Нового года, четырнадцатая... Четырнадцать комнат, это в четыре-то месяца, с января по апрель!! Ужасно!.. Но что ж делать, если работа его требует спокойной обстановки? Хорошо, если бы здесь был обретен, наконец, столь желанный покой...

Дзынь! – раздался в передней сильный звонок...

Мехлюдьев всем туловищем привскочил на месте.

Вслед затем громыхнул и стукнул дверной крюк.

– Куничка! – воскликнул чей-то тенорок. – Куничка! Здравствуй! (Мехлюдьев догадался, что голос должен принадлежать хозяину-поэту). Ты заждалась меня? Да?

Раздались долгие и сочные звуки поцелуев.

– Ну, вот и я! – восклицал тенорок. – Ну, Куничка, какую я мебель купил! Прелесть что такое! Орех, всё орех! Трюмо, стол перед-диванный, шифоньерка, шкаф для книг... Да, вот сейчас принесут. Матрёна. Матрёна! – зазвенел пронзительно тенорок, как разбитый стакан, но тотчас же упал до шёпота: – А? Что? Сдала? Ну и, прекрасно! Кто!.. Ли-те-ра-тор? Неуж жели? Матрёна, отворяй обе половинки? Вот так! Посмотри-ка на лестнице. Несут?

– Несут! – радостно провозгласила Матрёна.

С лестницы доносились голоса, сперва глухо, а потом всё громче и громче. Слышались тяжёлые шаги и треск задеваемой за стены мебели.

«Гм... чёрт возьми, довольно беспокойно, однако!» – размышлял на своём диване Мехлюдьев. – А, впрочем, что ж делать? Мебелью обзаводятся, нельзя же... Ну а потом будет тихо... Хозяева, кажется, хорошие люди... Какой только у него противный, визгливый голос! И так, с завтрашнего же дня работа, работа! И никуда ни ногой! К чёрту жур-фиксы, шлянье! За работу!

Вдруг Мехлюдьев с испугом приподнялся на диване... Он вспомнил, что, покупая для предстоявшей работы великолепную почтовую, с золотым обрезом бумагу, он забыл купить лиловых чернил! Какая забывчивость! У него уже были чернила красные, синие, зелёные... Если бы существовали в продаже желтые – и они у него непременно бы были... Но как же вдруг без лиловых чернил?

Сколько уже месяцев он лелеет в душе мечту своей жизни – создать великую, небывалую вещь – и в результате усилий чистые листы почтовой с золотым обрезом бумаги, на которых одно только заглавие, с рамными завитками и финтифлюшками, сделанными всеми чернилами, так что всё вместе имеет вид, в роде следующего:...

Впрочем, позвольте несколько предварительных слов.

Это был совершенно примитивный рисунок, напоминавший, несколько те отдалённые века, когда первобытный человек в своём инстинктивно-понимаемом стремлении к одухотворению природы высекал на камне аляповатые фигуры людей и животных, долженствовавшие изображать эпизоды его охотничьей жизни, влагая в них, в эти младенческие потуги эстетической мысли, священный трепет, внушаемый ему, первобытному человеку, созерцанием таинственных явлений природы. Глядя на эти завитки, зигзаги и выкрутасы, украшавшие первую страницу предназначенного удивить мир романа, мы должны бы были понять во всей силе намерение автора их тотчас же, по первому абзацу, взять вас, так сказать, за шиворот, потрясти вашу душу неопишуемым ужасом и проникнуть и скорбью, и гневом. каковые, подразумеваются, водили пером этого мрачного автора... Да. этот рисунок необходимо должен был вселять панический ужас... Женщина непременно вздрогнула бы и перевернула поскорее страницу... Ребёнок неминуемо должен был бы разреветься...

Мы сочли необходимым предпослать эти несколько строк на тот случай, если читатель наш принадлежит к числу людей слабонервных...

### III. Начинание

На первой странице тетради, предназначавшейся для пресловутого романа Мехлюдьева, изображено было следующее:

#### **МИРОВАЯ ПРОКАЗА роман МЕХЛЮДЬЕВА в 3-х книгах. Книга I. ЧАСТЬ I. Глава I.**

И больше ничего! Больше ничего!.. Неумолимый рок!

О, сколько раз, бывало, вот так же, как и теперь, погрузится он взором в этот рисунок, и идея романа, потрясающая, грандиозная идея восстанет в хаосе сцен и картин, которые вот уже сколько времени носятся прихотливой гирляндой перед умственными очами будущего их воплотителя в стройные образы! Сколько раз, бывало, погрузится в чернила перо и обсохнет... Опять и опять погрузится перо и снова обсохнет, не начертав на бумаге ни единой строки!

С чего начать? Как приступить?..

Должно ли служить для начала описание скверной петербургской погоды, осеннего неба, изображение нищеты и разврата в обстоятельном, натуралистическом стиле?.. Этот приём тем благодарный, что таким образом читатель сразу же ставится в известное положение. Автор распоряжается с ним, как с виолончелью (сравнение прекрасное!), зажимает его, так сказать, между коленей, берёт за горло и смычком своей фантазии начинает водить по струнам души его, извлекая стенания... На же тебе! На же тебе! На же тебе, такой ты, сякой, попробуй-ка вырваться! Вот как надо с читателем!

Или, напротив, лучше сперва разнежить его каким-нибудь тихим поэтическим вечером, под небом благодатного юга, где бы звёзды мерцали и луна проливала таинственный свет, а в траве стрекотали кузнечики?..

А не то, может быть, лучше всего оглушить его сразу каким-нибудь эффектно-патетическим воплем?..

Все это вопросы существенные! Публика наша черства и груба. Тонким художеством её не проймёшь! Нужно непременно что либо такое, что сразу бы ей ударило в нос, ошарашило по голове, как обухом, – в этом залог всего успеха... Мехлюдьев так именно, и смотрит на публику. Пусть публика пока не знает Мехлюдьева, но он-то сам её знает! О, Мехлюдьев её знает отлично!

А тем временем, пока он решал в голове эти вопросы, возня за стеною продолжала идти своим чередом.

– Осторожнее, осторожнее! – визжал тенорок поэта с древесными псевдонимами; – черти, анафемы! Нагибай ниже! Вот так!.. Ну, чего же вы стали? Карниз, карниз осторожнее!

– Ах! Боже мой, карниз! – вторил меццо-сопрано дамы с жгучими глазами: – Ради Бога, осторожнее!

– Ничего, ничего, барыня! – успокоительно гудел бас носильщика. – будьте покойны, в сохранности предоставим! Ну. Фёдор! Бери на попа! На попа бери! Вот так! Трогай!

Послышалось громыханье сапог и шум, происходивший оттого, что несколько мужиков втаскивали какую-то тяжесть.

Мехлюдьев приподнялся со спинки дивана, на котором он в тысячный раз созерцал белые страницы своей рукописи, встал и заходил по комнате.

Да, патетический вопль будет, пожалуй, лучше всего! Этот приём избавляет от необходимости нанизывания разных деталей, который, всё-таки, как ни на есть, а утомляют внимание. Описания погоды, поры дня, обстановки – всё это так избито, банально! То ли дело, если начать, например, такой фразой:

«О, если б вы знали...»

Но в эту минуту отворилась дверь, и, предводительствуемые Матрёной, мужики стали вносить в комнату комод, стол, стулья и прочую мебель. Матрёна распоряжалась расстановкой.

Мехлюдьев прижался в угол дивана, покорно подчиняясь обстоятельствам, развеявшим в прах начало романа, которое стало уже комбинироваться в его голове. И так случалось всегда! Надо надеяться, что это недолго продолжится...

Он созерцал машинально, как мелькали мимо него спины расставлявших мебель носильщиков, наполнивших комнату стуком и гомоном, слышал кряхтенье их и звонкий голос Матрёны, распределявшей, что куда нужно ставить.

– Стол-то, стол-то подвинь!!... Сюда комод, в этот угол! За диван не зацепите! Не зацепите за диван-то, вам говорят!

– Не заце-епим... – кряхтели носильщики, таща перед самым носом Мехлюдьева громадный комод, ставя его тем в необходимость ещё более стесниться в своём уголку и даже подобрать под себя ноги. – Эх, барин, сошли бы вы лучше с дивана, а то, не равно, как бы не стукнуть тут вас...

– И то, лучше сошли бы с дивана... – подтвердила также Матрёна.

«Вот она, проза жизни!.. – думал, вставая, Мехлюдьев, затиснутый в угол между диваном, комодом и мелькавшими спинами двух дюжих носильщиков; – «Ну уж это, вероятно, последнее»...

Был десятый час, вечера. В комнате стало совершенно темно. Только окно чуть ясноло последними отблесками вечерней зари, предвестницы грядущих, в недалёком будущем, белых ночей.

Носильщики ушли, и в квартире всё успокоилось, даже хозяев не было слышно Матрёна сновала по комнате, в полутьме, накрывая спинку дивана и какие-то крохотные столики вязаными белыми салфеточками.

Наконец, и она окончила свою работу и остановилась перед жильцом, приткнувшись на стуле, в углу.

Пышная грудь её высоко вздымалась, она тяжело и быстро дышала, и из-под жёлтого платка её бойкие глазки смотрели ирииво и вызывающе.

– С новосельем, барин, позвольте поздравить! – сказала она.

– Спасибо! – буркнул Мехлюдьев, обдумывая в эту минуту одну эффектную сцену для второй части «Мировой Проказы».

– Теперь и нам веселье будет! – продолжала Матрёна, лукаво поглядывая на жильца.

– Как это веселее? – спросил тот, отрываясь от своих заветных размышлений.

– Да так уж! Мы с барыней уж наскучались досыта! Чтой-то, в сам-деле за приятность! Барин уйдёт с утра, а мы всё одне да одне!

– Гм! – сказал Мехлюдьев, совершенно поражённый неожиданным, открытием, что помимо обязанности жильца – платить за комнату, на него ложится ещё новая обязанность: развлекать барыню и кухарку.

– Да уж нечего хмыкать! – задорно подхватила Матрёна и совершенно неожиданно плюхнулась на стул напротив жильца: – Конешно, веселей! Барыня-то у нас ве-есёлая! – ухарски протянула Матрёна; – Вы не смотрите, что она ругается, а она добрая, ей-Богу. Добрее барина! Барина я не люблю... – шепнула она конфиденциально, – а барыню вот как обожаю! Она меня сегодня прогнала, а потом на кухне прощения просила: «прости, говорит, Матрёнушка, что я тебя изобидела»... Вот оно как!

– Ну, а ты что же ей сказала? – осведомился Мехлюдьев.

– Я-то? – весело воскликнула Матрёна; – а я ей: «Бог, мол, простит, барыня!» Мы с ней завсегда так! Завсегда друг у дружки прощения просим!

– И она тебе всегда прощает? – любопытствовал Мехлюдьев.

– Она-то? Ещё бы тебе! Она должна прощать! Пословица сказывает: кто Богу не грешен, царю не виноват... И за ней, за барыней-то, тоже много блох водится... Фью-ю, как много! – неожиданно, совсем по-мужски присвистнула Матрёна и, наклонившись к уху Мехлюдьева так близко, что он даже вздрогнул от прикосновения горячих, влажных губ, шепнула: – Вы думаете, они обвенчались? Никогда этого не бывало! Вот оно что!

– Как же так? – тоже таинственным шепотом спросил озадаченный Мехлюдьев.

– А очень даже просто! Вкруг ракитова куста окрутились, да и ладно! – весело воскликнула Матрёна. и добавила: – По-моему, лихо! Я так люблю!

– Гм, гм, – пробормотал смущённый Мехлюдьев, стыдливость которого была потрясена в самых глубоких своих основаниях. «Чёрт знает, какие вещи говорит эта молодая вакханка!.. Да вдобавок она совсем забывается: как ни на есть, он для неё всё-таки барин, а она ему горничная... Чёрт знает, её положительно нужно выгнать из комнаты. Сказать ей: «пошла вон?» – Неудобно! Анафемски глупое положение»!

А Матрёна между тем уже хозяйничала в его чемодане. Одну за другою. вытаскивала она принадлежности его гардероба, раскладывала их по ящикам комода. и всё время трещала без умолку.

– Да и что, в самом деле, за скус в женатой жизни? – говорила она, шумно двигая ящиками, – одна скука! Уж и правильно пословица говорит: женатые люди – проклятые! То ли дело холостой... Ии-их! Что ветер в поле! Захотел кого полюбить – полюбил, захотел бросить – бросил! Тоже и наша сестра... Пришёлся по сердцу человек – ладно, а не пришёлся – вон его. Другой найдётся. Вашего брата, мужчинок, сколько угодно на каждом перекрёстке – только помани!

– Послушай, Матрёна, – сурово и величественно начал Мехлюдьев; – ты одна здесь прислуга?

– Одна! – отвечала Матрёна, и прибавила: – ещё бы они другую взяли, жида эдакие... Да они от жадности удавятся.

– А разве они жида? – осведомился с беспокойством Мехлюдьев.

– Жида, или немцы. почём я знаю? Не моё дело!

– Ну так вот! Так как ты одна здесь прислуга, это, значить, ты будешь убирать мою комнату, не так ли?

– Конечно, а кто же больше?

– И чистить сапоги?

– И чистить сапоги.

– И подавать самовар?

– Ну да, и самовар подавать.

– За все эти услуги ты будешь получать с меня рубль.

– Ну что ж, и на том спасибо!

– Разве тебе недостаточно?

– Это уж ваше дело: услугу, так прибавите! – подмигнула лукаво Матрёна.

– Ну да, да, конечно! – вспыхнул Мехлюдьев, стыдливость которого стала было опять возмущаться; – Так вот что... да, что я хотел сказать?.. Да, да!.. Может быть, но утрам иногда будет меня спрашивать курьер... Ты знаешь, что такое курьер?

– Эва, да что вы, барин, меня совсем дурой считаете! Слава Богу, видала я курьеров!

– Ну. так вот. Ко мне будет приходиться курьер с бумагами... Ты должна мне их подавать. Если даже я сплю, ты должна меня разбудить и подать, чтобы я расписался. Ты понимаешь?

– Слава те Господи, как не понять!

– Отлично. Затем вот ещё. Все, кто будут ко мне заходить и не заставать дома – пусть оставляют свои карточки. Ты должна класть их мне на стол. Если нет карточки, -спроси как зовут и запомни...

– А к вам много будет ходить? – с живостью спросила Матрёна.

– Н-не знаю... Может, и много... Ну, теперь, кажется, всё!

Мехлюдьев был уверен, что Матрёна сейчас и уйдёт, но ошибся. Та с беззаботнейшим видом принялась устраивать ему постель.

Жилец рванул себя за волосы, скрипнул зубами и с каким-то отчаянием вооружился решимостью не обращать на её присутствие ни малейшего внимания.

Он сел за стол, на котором уже лежал его литературный портфель, т. е. попросту большая квадратная папка, заключающая в себе ворох клочков и отрывков начатых литературных вещей, зажёл пару свечек, и, откинувшись на спинку стула, погрузился в величественное созерцание горящих свечей.

– Покойной ночи, барин! – раздался сзади него голос Матрёны; – Счастливо вам спать, да хорошие сны видать... Хи-хи-хи!

И, продолжая смеяться, она вышла из комнаты.

Мехлюдьев рванулся со стула к дверям, повернул ключ, и со вздохом облегчения повернулся к столу.

\* \* \*

Тишина. За тонкой стеной, где раньше слышались какая-то сдержанная возня, шлёпанье туфель и чьё-то сопенье, тихо, как в могиле. Откуда-то издали слышен звук посуды и журчанье воды.

Да, «Мировая Проказа» сегодня опять не пойдёт! Но Мехлюдьев всё-таки будет работать! Он будет писать новую вещь, которая давно у него уже задумана, – именно, рассказ из петербургской жизни.

И с этим благим намерением Мехлюдьев сел к столу и принялся за дело.

Словно совершая какое священнодействие, литератор осторожно вынул из папки девственно-чистый листок почтовой бумаги, любовно разгладил его дрожащей рукою, положил перед собою, и долго смотрел на него взором страстно влюбленного. Потом он вынул вставку, тщательно осмотрел её, кое-где даже ковырнул её ногтем и погладил: затем долго копался в коробочке с перьями, выбрал, наконец, наиболее подходящее, и, обмакнув его в синие чернила, черкнул на клочке бумаги: «проба пера»... Проба оказалась неудачной: перо мазало. Тотчас же оно брошено было под стол, и новое перо вывело на этот раз довольно отчётливо: «проба пера». «Проба пера», «проба пера», «проба пера», повторил литератор три раза и, довольный результатом, положил перо на край стола.

«Ни за что не стану больше брать 86-й номер! – мысленно решил Мехлюдьев, – *Steeple chase A. Sommerville & Co* положительно лучше!».

Пламя обеих свечей ровной плавно тянулось кверху. Вокруг было тихо. Даже со двора не было слышно ни звука.

Мехлюдьев сосредоточивался...

Он сидел сгорбившись на стуле, вытянув голову вперёд и, подложив под подбородок оба сжатые кулака, локтями упирался в колени. Взгляд его был сосредоточен, на лежавшем перед ним на столе листе чистой бумаги...

Те, которые читали или прочтут какое либо из произведений, пусть подумают, о, пусть только подумают, скольких нечеловеческих усилий, мучительных страданий и попыток стоила автору каждая строчка! Вотт, и теперь он мучился над этими строчками, усиленно тёр лоб, переносицу, ёрзал на стуле, но увы, ничего не выходило!.. «Часы текли в вечность», выражаясь высоким слогом, и действительно, у хозяев часы звонко и отчётливо пробили двенадцать... На девственно белом листке почтовой бумаги появилась одна, только одна черная полоска... В голове автора тем временем припоминался и комбинировался великолепный эпитафия – две

строчки из Ювенала, на божественном языке древних римлян, и эти две строчки, по его расчёту, непременно должны были «броситься в нос» и «задеть за живое» читателя...

Час ночи. У злополучного автора выведено: «Часть I. Глава I» и написано три строки следующего содержания:

«Быль январь. Быль ясный, морозный полдень. Невский проспект был залит разношёрстными группами гуляющего народа...»

Дна часа ночи. Ни шагу вперёд! Под столом пол был усеян перьями. Оказывается, что все мажут, даже достославный *Steeple chase A. Sommervillo & C<sup>o</sup>* – и тот мажет. Бумага подлая, чернила подлые, свечи подлые, комната подлая и всё-всё на свете, весь мир подлый! Но подлее и отвратительнее всех Матрёна! Вот истинная виновница неудач! Кто, как не она своей болтовнёй, своею нахальной разнузданностью, своими сплетнями, смехом, изменила и исказила стройное течение мыслей злополучного автора? Кому, как не ей, обязан он тем, что у него написано всего три строки, и в трёх этих строках – о, ужас! – три раза употреблено слово «был»! К чёрту это «был»!!

Мехлюдьев хватает перо и, уже не обращая внимания на то, что оно мажет, яростно зачёркивает ненавистное слово.

После этого тягостное раздумье нападает на него. Ему кажется, что слово «залит» употреблено не совсем правильно и он его вычёркивает. Затем, не могут ли показаться выражения «разношёрстными» и «народа» несколько как бы вульгарными... Да, конечно, могут! Он вычёркивает и эти слова.

Но в самый разгар авторского самоуничтожения Мехлюдьеву слышится, что за стеной как будто кто-то шевелится.

Он настораживает уши...

Да, положительно, кто-то шевелится, ходит по комнате. шаркая туфлями, отворяет шкафы, бренчит посудой, исчезает и снова стучит.

Подобно сухим листьям в осеннюю непогоду, моментально рассеиваются с такими усилиями собранные в стройное целое мысли злополучного автора...

У него нет ни желания, ни малейшего намерения слушать, что происходит за стеною, но она так тонка, что для того, чтобы не слышать ничего, ему нужно плотно заткнуть оба уха, а между тем ему сейчас вот, в эту минуту, опять слышится звон стаканов.

Так и есть! Кто-то шепчет, а затем слышится сонный женский голос, который произносит:

– А? Что? Что тебе?

– Куничка, Куничка! – слышится другой сладкий шёпот; – я приготовил глинтвейн, не хочешь ли?

– Ах, оставь пожалуйста... Я спать хочу.

– Куничка! Пышечка! Дудочка маленькая!

– Ха-рич-ка! Оставь! Я спать...

– Ну, что там «спать»!.. Куничка! Пышечка! Выпей, попробуй! У меня явилась мысль написать стихотворение...

– Ах, Харлаш! Какой ты... смешной! А-а-а!

Продолжительный зевок и ещё более продолжительные, взасос, поцелуи...

О, проклятие!

Мехлюдьев стискивает кулаки, взъерошивает волосы и в бессильном бешенстве мечется из угла в угол.

Напрасные старания! Нежности поэтической четы продолжают. Засели за стол, занялись хозяйственными беседами и обсуждениями...

Отчаявшись продолжать сегодня работу. Мехлюдьев гасит свечи, натываясь впотьмах на новую мебель, добирается до кровати, раздевается и, юркнув под одеяло, накрывает голову подушкой...

Нелишняя предосторожность, так как бодрствующая поэтическая чета всё ещё продолжает беседовать. И в то время, когда сонные представления в литературной голове Мехлюдьева, принимая уродливые формы и размеры, в странных сочетаниях перемешиваются с лицами и сценами его будущего произведения, уста злополучного автора с остервенением шепчут:

– Чтобы вы оба подошли! Чтобы вам провалиться на этом месте!.. Чтобы вам...  
Тут сон смежает, наконец, его веки...

## IV. Поэт с древесными псевдонимами

На другой день Мехлюдьев проснулся довольно рано. Он был измучен дурно проведённой ночью и, вероятно, проспал бы подольше, если бы не одно обстоятельство, бывшее причиной его пробуждения. Не понимая ещё, что с ним происходит, как это бывает с человеком в состоянии просонков, если он в первый раз заснул на новом месте, Мехлюдьев вдруг вытаращил глаза, воспрянул с подушек и сел на кровати, поражённый новым, неожиданным для него обстоятельством...

Сперва ему показалось, что он очутился на птичьем дворе. В воздухе стоял стон от щебетанья и писка каких-то многочисленных птиц... Вот одна залилась пронзительной трелью, другая затянула свою, и обе они наперебой, покрыли надолго хор голосов остальных своих конкурентов...

– Боже милостивый! Что это значит? – прошептал помертвелыми губами Мехлюдьев и вдруг с ужасом понял: «Канарейки!.. У них целый дом канареек!.. Вчера они уже дрыгли, почему я и не слышал... О, я, несчастный!»

В довершение всего, тонкий тенорок хозяина покрывал весь этот содом.

– Куничка! Куничка! – визжал он в разных концах комнаты, шлёпая своими туфлями. – Посмотри, пожалуйста, какой прелестный туалет я тебе купил! Ведь это роскошь что такое! Знаешь ли, он ещё лучше, при дневном освещении... Нежно-голубой, полосками! Не правда ли, лучше?

– Да, лучше... – сонным голосом отвечала подруга: – Нюничка, ты мне мешаешь спать!

– Но. мой друг, кто же спит теперь? Солнце так светит, утро такое прелестное!.. Знаешь, я высунулся в окно, и на меня пахнул этот бодрящий весенний воздух... Мне сейчас же пришла мысль, и я набросал несколько строк... Сегодня ночью, сколько я ни старался, я никак не мог наладить начало на эту тему... И странное дело! Не помог даже глинтвейн. Вообще, я заметил, что время дня действует на характер творчества. Стихи в антологическом роде ночью не удаются! Зато эротические выходят очень удачно! Странно, не правда ли, да? Антологические лучше всего выливаются в такое прелестное утро, какое сегодня. И начало у меня вышло удачно! Я тебе сейчас прочту, что написал... Вот оно! Слушай!

Поэт взвизгнул, с пафосом скандируя и притопывая в такт пятками туфель, прочитал:

Воздух чист, прозрачен, дышит  
Ароматами цветов,  
И, по ветру, ухо слышит  
Нежный говор васильков..  
И раскинулись близ речки,  
Как пестреющим ковром,  
И коровы и овечки...

Поэт остановился.

– Тьфу! – плюнул с остервенением Мехлюдьев, поворачиваясь на другой бок.

– Ну, что же дальше. Нюничка? – томно протянула подруга.

– А дальше... Гм! Дальше, видишь ли, я ещё не подобрал рифмы... «Ковром, ковром...» Чёрт возьми, очень трудная рифма! – зашлёпал туфлями поэт, бегая по комнате; – не можешь ли ты, Куничка, придумать? Ты, ведь, у меня молодец!

– Я? Не знаю... Тут, ведь, нужно ещё какое-нибудь животное, я думаю?..

«Вот и клеил бы себя, подлец! Чего лучше, самое подходящее животное!» – пробормотал Мехлюдьев.

– Конечно, животное нужно! – подхватил поэт, – только какое животное, вот вопрос? «Ковром»... Рифма в творительном падеже, вот что трудно! «Ковром».. Гм!.. «Быком»?.. Не подходит к предыдущему! Творительный падеж всё дело испортил! Ах, ты, Боже мой, ну, что делать? Разве вот что!..

И поэт заходил по комнате, шлёпая туфлями п и бубня:

– Бо-бром, го-вром, до-вром, жо-вром...

– Тьфу! – плюнул опять Мехлюдьев, поворачиваясь на правый бок. – Что за наказание, Боже мой!

– Нет, Куничка! – тоном отчаяния воскликнул поэт, – ничего не выходит! Погибло стихотворение! А какое прекрасное стихотворение-то! Впрочем, я его ещё куда-нибудь вклею...

– Конечно, вклеишь! – лениво протянула Куничка и добавила: – Ну полно тебе, Нюничка. давай лучше кофе нить.

Мехлюдьев слышал, как зазвенели стаканы, забренчали чайные ложки и начался утренний кофе. Во всё это время тонкий тенорок поэта не умолкал, чем совершенно устранилась для Мехлюдьева возможность снова заснуть.

Он уже встал с постели, умылся, оделся и вознамерился уйти, справедливо рассчитывая, что если останется дома – неугомонный поэт с древесными псевдонимами уморит его своими стихами. Но едва лишь он успел спрятать в ящик стола чистую бумагу – источник своих ночных страданий – и взяться за шляпу, раздался звонок и через минуту в комнату вошёл Скакунковский.

Он был уныл, смотрел исподлобья и, не снимая пальто, поместился на диване, молча пожав руку приятеля.

– Что это ты такой? Что с тобой? – участливо спросил Мехлюдьев.

Скакунковский безнадежно махнул рукой и указал на свою шею. Она вся, до самых ушей, была обмотана шарфом так, что голова Скакунковского выглядывала оттуда, как яйцо из гнезда.



– Гланды! – прохрипел он; – Всё проклятия гланды! Мочи нет! Всю ночь спать не давали! И как раз на сонной артерии, так что и вырезать даже нельзя... Смерть неминуемая!

– Ну уж и смерть! – усомнился приятель.

– Да уж верь мне, я скоро подохну! – уныло отвечал Скакунковский. – А ты это куда собрался?

– Так... пройтись думал...

– Не пивши чаю?

– Не хочется что-то... А впрочем, если ты не откажешься составить компанию, я велю подать самовар...

– Нет, какой там чай! Глотать не могу, вот до чего больно! – чуть не со слезами на глазах отвечал Скакунковский и, встав с дивана, протянул руку: – Я уж пойду...

– погоди, напьемся чаю, гланды и размякнут...

– Не размякнут они! – грустно-убежденным тоном отвечал Скакунковский, направляясь к дверям. – Я уже йодом намазал... Не помогает. Прощай!

Он взялся за ручку двери, но вдруг обернулся и спросил с любопытством:

– Что это? канарейки, кажется?

– Канарейки, – нахмурившись, как туча, процедил Мехлюдьев.

– У тебя квартира с канарейками... А я вот уже сколько времени собираюсь скворца завести, и всё не могу... Счастливец ты, право!

И Скакунковский скрылся за дверью.

Мехлюдьев остался сидеть, размышляя о недуге приятеля.

«Гланды!.. Вечно какуюнибудь чушь выдумает... Умирать собрался, извольте видеть!.. А небось, завтра же опять оживёт и на каждую юбку будет пялить глаза...

О, люди, жалкий род,  
Достойный слёз и смеха!

Ах, канарейки проклятые, чтобы вас чёрт всех пробрал вместе с хозяевами!»!

Погруженный в свои размышления, Мехлюдьев не заметил, как дверь его комнаты слегка скрипнула, приотворилась, и в образовавшемся пространстве мелькнули чьи-то ослепительно-белые зубы... т. е. не одни только зубы, но и лицо, широкое, румяное, бородатое лицо, с огромнейшим лбом, сияющей лысиной и живыми, бегающими глазками; но зубы, эти ослепительно-белые зубы заслоняли всё остальное... Они сверкнули в дверях и как бы осветили всю комнату.

Затем они на мгновение скрылись, но тотчас появились опять, причём из них вылетел коротенький звук:

– Гмррк!..

Мехлюдьев вздрогнул, обернулся и тогда только увидел эти великолепные зубы, которые были одеты в новомодную весеннюю пару.

– Извините, г-н Мехлюдьев, – сладким тенором заговорили белые зубы, или, вернее, их обладатель, – вы заняты? Может быть, я вам мешаю?.. В таком случае...

– Нет, ничуть! Я... я... не занят, – растерялся застигнутый врасплох квартирант, проникая всё большим уважением к этим великолепным белым зубам, и к лысине, и даже к этой, отлично сидевшей, новомодной паре.

– Позвольте отрекомендоваться: Харлампий Густавович Нюняк, хозяин этой квартиры. – добавил посетитель протягивая пухлую, выхолонную руку Мехлюдьеву и садясь против него в кресло.

Тому тотчас же вспомнилась ночная беседа за стенкой и «Харя». «Харчик», «Харлаш»...

– Очень приятно. – пробормотал он.

– А вы что же это? Без самовара? – заговорил хозяин, бросая вокруг пытливые взгляды. – Вы не пили ещё чаю?

– Да... т. е. нет... т. е. я не хочу... Впрочем, за компанию, не угодно ли?

Мехлюдьев вскочил со стула и метнулся к комоду, где у него хранился чай.

– Ах, какая глупая эта Матрёна! – запел хозяин своим тенорком, – мы давно уже отпили кофе, а она и не догадалась принести вам самовар... Куничка, вели Матрёне принести сюда самовар!

Ответа не было. Тем не менее хозяин, убедившись, вероятно, что его приказание услышано, успокоительно придвинул своё кресло к стулу, на котором сидел жилец, и заговорил:

– Знаете ли, мне очень приятно, что случай свёл нас жить под одной кровлей! Я читал кое-что из ваших произведений, и давно помышлял о знакомстве с вами. И вдруг т– такой случай! Очень приятно!

– Очень приятно! – пробормотал Мехлюдьев, пожимая протянутую ему руку и соображая, что бы ещё такое сказать хозяину. Но тот не дал себе труда ждать, и так и трещал, сверкая своими ослепительными зубами.

– В нашей литературе, – верещал он, – замечается чрезвычайно прискорбное явление, это отчуждённость работников мысли и слова... да, мысли и слова... да! эта рознь, эта рознь... как его... которая препятствует близкому соединению одинаковых душ... Правда? Да? Вы согласны?

– Гм, да... я согласен, – ответил на удачу Мехлюдьев.

– Вы редактор «Задора»? Главный сотрудник? – сыпал дальше неугомонный поэт. – Я встречал ваше имя, так как слежу за этим журналом и интересуюсь им. Интересы народа, у нас, пишущих людей, должны стоять на первом плане, не правда ли? Да?

– М-да... должны... А позвольте узнать, где вы сотрудничаете? – робко осведомился Мехлюдьев, в то же время чувствуя, что речи его поэтического собеседника начинают давить его и загромождать, как какие-нибудь увесистые тюки, сваливаемые один за другим на его бедную голову.

– О, во многих. в очень многих изданиях! – с азартом воскликнул хозяин, сверкнув зубами и не без самодовольства растянувшись в кресле: – Трудно перечислить издания, в которых я помещаю свои труды! Да вот вам: по отделу поэзии я главный сотрудник «Общественной Размазни»; затем я нишу в «Туче», в «Размалёванном Свете», в «Толкуне»... Из мелких изданий: в «Комаре», в «Салопнице», в «Еже». «Блохе», в «Мгновении»...

– В «Мгновении»?! – удивился Мехлюдьев.

– Да, знаете, разные такие поэтические шалости... Ведь для нас, поэтов, направление необязательно!.. Гм... Ну, где ещё?.. Да трудно, положительно, трудно перечислить.

– А в ежемесячных толстых журналах? – спросил Мехлюдьев.

– Да... Конечно... И в толстых журналах... – уклончиво отвечал ховяин, и тотчас воскликнул при виде входившей с самоваром Матрёны: – Ага! Вот и самовар!

Мехлюдьев заварил чай и налил по стакану хозяину и себе.

– Видите ли, – говорил поэт, небрежно играя ложечкою в стакане, – тут, собственно, нет ничего необычайного, что я работаю почти во всех изданиях, если принять в соображение, что я пишу стихи с шестилетнего возраста, а печататься стал с 10 лет...

– Что вы говорите?! – изумился Мехлюдьев.

– Могу вас уверить! Да вот, не хочется только рыться в старых бумагах, а то бы и вам показал стихотворение, написанное, когда мне было 5 с чем-то лет... И, знаете, очень недуренькое стихотворение! В общем у меня написано более 10000 стихотворений в разных родах и на всякие случаи, по отделам... Есть отделы: весенний, летний, осенний, зимний... Отделы: грустно-элегический, любовный, вакхический, философический, эмпирический, юмористический, дидактический и, гм... хе-хе-хе... эротический!..

У Мехлюдьева в глазах зарябило от перечисления бесчисленного множества всех этих «ических» отделов стихотворений, и при ежеминутном сверкании зубов посетителя он чувствовал себя в таком состоянии, как будто вместо собеседника, с его зубами, перед ним находился фокусник-гипнотизёр, который держал перед ним не отводя пресловутый блестящий шарик, вследствие чего казалось, будто целое сонмище пауков залезло ему в мозг и заткало все его извилины липкой паутиной.

Он сидел перед зубами поэта совсем истуканом, не будучи в состоянии пошевелить языком, и усиленно хлопая глазами, из опасения заснуть и свалиться бревном под стол.

А тонкий тенорок всё пел да пел перед ним, и вечная улыбка ни на минуту не покидала лица воодушевившегося хозяина.

– Стихи даются мне замечательно легко, просто, знаете, как-то сами ложатся на бумагу! Иногда, право, не успеваешь записывать, и я, серьёзно, хочу взять несколько уроков стенографии... Мысли бегут, один образ сменяет другой, третий, четвёртый... Я – гасконец по происхождению, а так как в Гасконии все поэты, то немудрено, что и я в высшей степени обладаю поэтическим даром... В последние годы я нашёл, наконец, нужным привести в систему процесс своего творчества... И это мне удалось как нельзя лучше! Вот как я распределил часы своих занятий, по отделам: утро, до чаю (я встаю рано, в 7 часов), я посвящаю лёгоньким поэтическим вещам антологического содержания; после чаю, от 9-ти до 11-ти – отдел философический (голова свежа и работает очень легко!); завтракаю я в час: чашка бульона и два яйца всмятку, – Куличка знает мой вкус и всегда собственноручно готовит мне завтрак; от часу до трёх я посвящаю отделу любовному, или, так называемому, сезонному: весна там, осень, или «лёд идёт», или «пушистым снегом перекрылась кормилица-земля...» После обеда, от 5 до 7 часов отдел юмористический; вечером, если мы не отправляемся в театр или в гости – отдел дидактический... К слову сказать, но только под большим секретом, никому ни-ни: я пишу большую поэму из народного быта... Нужно послужить и народу!.. Ну, а на сон грядущий, что-нибудь этакое лёгонькое... шалость, эпиграмму, или в эротическом духе... И вот мой день! Как видите, он весь распределён по часам, потому что я стараюсь жить как философ... Как вы находите? Это хорошо? Да? Неправда ли, хорошо? Вы согласны?

– Что хорошо? – спросил, словно очнувшийся от сна Мехлюдьев.

– Да вот, распределение моё? Т. е. распределение занятий?

– Гм... Да, конечно... Хорошо! – отвечал Мехлюдьев, желание которого, чтобы гость его провалился сквозь землю, достигло своего апогея.

Но поэт с древесными псевдонимами и не думал ни мало исчезать. Он ещё комфортабельнее раскинулся в кресле и трещал без умолку, повествуя о плане будущих работ, о гонорах, которые получал в различных изданиях... Наведя речь о старых поэтах, он без стеснения раздавал им эпитеты: «романтик», «лакричный лирик», «ходульный» «бездарность» и пр.

По уходе своём, поэт оставил Мехлюдьева в каком-то полубессознательном состоянии. Канарейки, Куничка, поэтическая болтовня хозяина – всё смешалось в безобразный хаос и давило голову жильца свинцовой тяжестью.

Пройтись, освежиться – являлось настоящей потребностью. Он оделся и вышел, под нежное воркованье поэтических голубков, происходившее в столовой, где, судя по бречанию чайных ложек, происходил в это время знаменитый завтрак поэта, из чашки бульона и двух яиц всмятку.

Мехлюдьев вышел на Невский и поплёлся, как говорится, куда глаза глядят. Позевал он в окно магазина эстампов, потом перед окном другого, оказавшегося магазином готового платья, а в голове его всё жужжало: «элегический, вакхический, философический»... «го-вром, до-вром, жо-вром»... «Не правда ли? да? вы согласны?»...

«Тьфу!» – плюнул Мехлюдьев, к великому недоумению какого-то проходившего мимо него господина, который, истолковав, вероятно, этот поступок Мехлюдьева присутствием в окне какого-нибудь соблазнительного предмета, с живейшим любопытством подошёл и уставился тоже.

Требовалось каким бы то ни было образом, хоть звуками других речей, что ли, выбить из головы всю эту чепуху. Мехлюдьев вспомнил, что это был как раз именно тот день и именно тот час, когда открыта редакция «Задора»... Он быстро туда и направился.

Редакция помещалась во дворе старого, невзрачного дома, находившегося в узком и довольно-таки пахучем переулке (Мехлюдьев поднялся по лестнице, на которой, несмотря Ииа

полуденное время, было темно, как в густыя сумерки, и тускло чадили керосиновые лампочки, и толкнул обитую Ииваной клеёнкою дверь, с вывешенным па ней таковым объявлением:

**• Редакция и главная контора • ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО  
ЖУРНАЛА „ЗАДОР“. Открыта ежедневно,  
от 9 ч. утра до 9 ч. вечера. Объяснения с  
редактором по вторникам, от 3 до 4 ч. пополудни.**

Он, очутился в узенькой, тёмной прихожей.

Из соседней комнаты слышались голоса, шаги и звуки чайной посуды.

Мехлюдьев собственноручно повесил пальто на вешалку. рядом с бывшими уже здесь: одним жиденьким летним пальто, крылаткой и шубой, и вошёл в комнату, не заперев за собою двери на лестницу, так как таковое действие было прямо враждебно привычкам редакции, неизвестно, в силу чего: для того ли, чтобы вход сюда оставался для всех всегда невозбранным или, может быть, с некоторой юмористической целью повергнуть в уныние вора, буде нашёлся бы таковой, который побеспокоился бы проникнуть сюда в наивном уповании на выгодные результаты этой экскурсии – во всяком случае, дверь никогда не была заперта, и самый звонок был давным-давно в безвестном отсутствии. Первое, что бросалось в глаза в этой комнате – была огромная груда сложенных кипами листов печатной бумаги, занимавшая целую стену, от одного угла до другого. Все эти листы были в своё время сложены в строгом порядке, но постепенно утрачивали свою симметрию, как бы под разрушительным влиянием какой-нибудь хищной руки. С десятков их даже просто валялись по полу. Происходило это вследствие того обстоятельства, что постоянные посетители этого места усвоили себе с некоторых пор привычку при уходе выхватывать из груды и прятать в карман сколько придётся листов на домашние надобности. «Задор». «Задор», «Задор» пестрело на полу во всех направлениях...

У мутного, мрачного окошка помещался длинный стол, покрытый зелёным сукном, закапанный чернильными пятнами. На нем стояли стаканы с чаем и по бокам виделись сидевшие на стульях, как истуканы, два господина. Третий при входе Мехлюдьева, чуть на него не наткнулся. Этот господин был длинный, тощий, сутуловатый, мрачного вида, с взъерошенными, падающими на лоб волосами и таковой же взъерошенной бородой. Он, как паук в банке, шнырял по комнате большими шагами, ехидно улыбался и ещё ехидней шипел, энергично потирая руки, будто мылся или ему было холодно.

– Прекрасно-с! Отлично-с! Вот уж можно сказать, великолепно! – урчал взъерошенный господин, подав на ходу руку Мехлюдьеву и продолжая шнырять по комнате.

Мехлюдьев поздоровался с остальными и сел тоже к столу.

– Чудесно-с! Обво-ро-жи-тель-но-с!! – продолжал господин и с новой силой потёр руки так, что даже хрустнули пальцы.

– Что такое? В чем дело? – забормотал в недоумении Мехлюдьев, поведя глазами по лицам сидящих.

Помещавшийся насупротив него господин – маленький, тощенький, средних лет с треугольной головой и телесного цвета бородой, обратил на него выпученные, как у рака, глаза и замямлил. мучительно выпирая из себя каждое слово:

– Мм... тово... гм... тово... Вы хорошо сделали... тово... что зашли... гм... гм...

– Да что же такое? Я ничего не понимаю... – вращал глазами Мехлюдьев.

– Восхитительно-с! – выпалил взъерошенный господин и потёр руки.

Третий из находившихся здесь только кашлянул и ничего не сказал. Это был невысокого роста, очень скромного вида молодой человек с бегающими пытливо по сторонам вороватыми глазками, одетый в потёртый чёрный сюртук и неопределённого цвета, с «бахромой», панта-

лоны. Воротник его грязной крахмальной сорочки обшаркался и, должно быть, сильно колот ему шею, потому что при поворотах головы на лице его выражалось страдание. Можно было сказать наверняка, что то летнее истрёпанное пальтишко, которое висело в прихожей, должно было принадлежать никому другому, как только ему.

– Да скажите же мне, наконец, Господи Боже! – взмолился Мехлюдьев. – В чём дело, я никак понять не могу?

– А вот в чём дело! – возопил взъерошенный господин, остановившись посреди комнаты, и вдруг отвесив Мехлюдьеву низкий поклон, прошипел:

– Прощайте-с! Счастливо вам всем оставаться-с!

– Анемподист Анемподистыч... тово... гм-гм... уходит от нас! – проямлил господин с рачьими глазами.

– Ухожу-с! Это немислимо-с! Мне мои критические произведения дороги-с! Я их кровью своего сердца пишу, кровью сердца, да-с! Пусть меня цензура искажает, пусть, но вот я чего не могу допустить, чего я не прошу, к чем у меня нет снисхождения – чтобы мои статьи подвергали ещё и типографским калечениям!

Взъерошенный господин остановился, полез рукою за пазуху, выхватил оттуда измятый номер «Задора» и возопил, свирепо потрясая им в воздухе:

– Что это? Это что, спрашиваю я вас?! Га!.. Слушайте все, вот что у меня было написано:

«*Рассматривая с упомянутой точки* это произведение, мы видим в нем подбор общественных фактов, обрисовывающих наше самопознание...» Ясно-с?! Вместо того эти мерзавцы вот что тут напечатали: «*Размазывая в упомянутой бочке* это произведение, мы видим в нём подбор *облизанных франтов*, обрисовывающих наше *самоползание*...» Каково-с? Нет, я вас спрашиваю: каково-с?! А? Каково-с?!

– Корректор... гм... гм... тово... пьян был... Он... энтого, как его... запоем тогда!.. – проямлил господин с рачьими глазами.

– Запо-оем?! – взвизгнул взъерошенный критик. – Вздор-с! Не поверю! Я уверен, что тут это намеренно. Да-с! Тут ни что иное, как самая подлая, низкая интрига... О, пожалуйста, не говорите мне ничего!.. У меня всюду враги! И я могу даже назвать того подлеца, каналью, мерзавца, того стервеца, который...

– Тсс... – сделали все, потому что в эту минуту в дверях появилась новая личность.

Это была маленькая, совершенно кубической формы, довольно почтенных лет дама, одетая в чёрное и держащая в руках саквояж.

– Скажите, к кому мне тут обратиться. – заговорила скороговоркою дама, подлетая к столу. – Мне нужно видеть редактора... Если не ошибаюсь, вы... – обратилась было она господину с рачьими глазами.

– Нет, я, не... тово... вот, как его, того, редактор! – указал тот на Мехлюдьева.

– Ах, очень приятно, очень приятно... Позвольте познакомиться... Одурец, Серафима Одурец...

– Вы насчёт романа? – спросил Мехлюдьев дрогнувшим голосом.

– Да, да, насчёт романа... «Загробная Любовь»... Толстый такой, в переплёте...

– Сию минуту, – отвечал наш герой, и с этими словами, отойдя в уголок, отворил стоявший там шкаф, достал оттуда увесистый фолиант, похожий на годичный экземпляр в переплёте «Нивы», или другого в этом роде издания – и с поклоном протянул его даме.

– Это что же? – как бы изумилась та, отступая.

– Ваш роман, – пояснил Мехлюдьев.

– Я вижу... да... мой... Но что же это значит?

– Неудобен.

– Неудобен?.. Мой роман не-у-добен? – протянула в совершенном остолбенении дама. – Почему же это он неудобен, позвольте спросить? Это странно... Хм... Это совсем непонятно...

– Редакция не обязана входить в объяснения.

– Но я надеюсь, что вы будете так любезны и сделаете для меня исключение?.. Я женщина, и потому... Ах, позвольте мне сесть, *soyez si bon*<sup>1</sup>, я так усгала.

«О, чтоб тебя!» – мысленно ругнулся Мехлюдьев и пододвинул ей стул. Дама уселась и, держа на руках свой фолиант в таком положении, как будто это была не рукопись, а новорождённый младенец, продолжала:

– Так скажите же, пожалуйста, почему мой роман неудобен? Не отнекивайтесь, откровенно скажите, я вас прошу, не щадите моего самолюбия, в чем вы нашли недостатки?..

– Гм... Велик! – пробормотал Мехлюдьев.

– Велик? Ну что ж... Разве нельзя сократить?..

– Да, нельзя сократить, – бросая на рукопись взгляд, как на лютого своего неприятеля, возразил Мехлюдьев. – У вас так написано, что если начать сокращать... Да нет, неудобен! – отрезал он мрачно.

– Что же вы всё: «неудобен, неудобен», а почему – не хотите сказать? Ну, пожалуйста, я вас прошу, скажите, почему неудобен? *Sans façon je vous pris*<sup>2</sup>

– Гм... уж не знаю... Да вот, у вас героиня в одном месте вешается, а потом топится...

– Да, но в первый раз неудачно! Она остаётся жива!

– Этого не сказано.

– Неужели? Быть не может!

– Верно, не сказано! Потом, когда она утопилась, то опять так выходит что она как будто живая приходит к любимому человеку... Нет, неудобен! – с отчаянием махнул рукою Мехлюдьев.

– Но позвольте, это можно исправить! Возьмите, прочтите это место? Где оно? Я сейчас отыщу!

– Извините, сударыня, – пролепетал совершенно растерявшийся от этого энергичного натиска наш герой, – я теперь не... я... я...

– Но позвольте, вы обязаны... – вскипятилась вдруг дама.

В эту самую минуту на выручку Мехлюдьева явилось обстоятельство, которое у древних называлось *deus ex machina*, когда сами боги снисходили в среду слабых смертных, чтобы разрешить между ними какуюнибудь путаницу, с которой они не в силах были сами разделаться.

В прихожей громко хлопнула дверь, раздался звук шпор, и в редакционную комнату влетел господин. в военном пальто, с усами и высоко вздёрнутым носом, на котором сверкало пенснэ.

– Э... э... па-азвольте спросить, кто может тут мне дать объяснение... Я подписчике «Задора», и вот уже около месяца не могу получить...

– Вот-с, к ним обратитесь, указал Мехлюдьев на господина с рачьими глазами, отскакивая сам быстро в сторону, вследствие чего вышло следующее: подписчик «Задора» сбросил с носа пенсне, сделал стремительный шаг, наткнулся на взъерошенного критика, который продолжал шнырять по комнате, отлетел дулетом назад, зацепился за стул романистки, пнул по дороге Мехлюдьева и в результате всего этого толстый фолиант «Загробной любви» грузно шлёпнулся на пол...

– Невежа! – воскликнула дама, бросаясь подымать своё детище.

– Но, сударыня... – начал было «подписчик»...

– Нахал!

---

<sup>1</sup> Будьте так любезны (*фр.*).

<sup>2</sup> Без церемоний, прошу вас!

Пользуясь этой минутой, Мехлюдьев быстро ретировался к дверям и в одно мгновение был уже в прихожей. Поспешно схватившись за шубу, потом за крылатку, он отыскал, наконец, своё одеяние и через минуту был уже на улице.

«Фу-у, слава Богу! – вздохнул он наконец полной грудью. – И на кой чёрт меня понесло!?!»

Смутны и странны были его ощущения. С одной стороны, сознание того, что он по счастливому случаю избежал назойливой романистки, наполняло все существо его тихим восторгом. С другой – он вспомнил про несколько написанных строчек романа, вспомнил все муки процесса, с какими далась ему эти несколько строчек, вспомнил поэта с древесными псевдонимами, Куничку, канареек, Матрёну – словом, всё то, что его ожидает на новом его пепелище – и старый червяк засосал его сердце... Он остановился в раздумье... Как раз перед ним ярко сверкала в глаза золотыми литерами по красному полю надпись «Трактир»... Он сделал по направлению к ней стремительный шаг, другой, третий, но вдруг остановился, погрузил обе руки в карманы пальто, затем перенёс их в карманы брюк, потом в карманы жилета – и тихо, медленно, с понуренной головой прошёл мимо...

Так же тихо и медленно прошёл он весь пахучий переулочек, тихо и медленно повернул на Невский проспект, тихо и медленно повернул в Пушкинскую, тихо и медленно в неё углубился, дошёл до знакомого дома и тихо, и медленно стал взбираться по лестнице.

Вот и она, квартира № 197... Пр-р-роклётая!!

Он позвонил и ему открыли. Он разделся и прошёл в свою комнату.

В квартире царил безмолвие. Канарейки молчали... В комнате беллетриста уныло белелась на столе «МироваяПроказа»... Стулья и кресла, казалось, дремали... В окно глядел полумрак сгушавшихся сумерек...

Он бросился на диван и испустил глубокий, протяжный, стонящий, медлительный вздох. Всё молчало вокруг.

Мехлюдьев лёг на живот, запрягал прядь волос в рот, попробовал её откусить, задумчиво выплюнул и перевернулся, по-прежнему на спину. Полежав на спине, он повернулся на правый: бок, потом на левый, затем на на спину и снова испустил прежний глубокий, протяжный, стонящий, медлительный вздох...

По-прежнему всё молчало вокруг.

И вдруг в прихожей пронзительно звякнул звонок, и в ту же минуту за стеной наперебой заговорили два женских голоса. Один был голос Кунички, другой был чужой, но в нём Мехлюдьеву послышалось что-то знакомое.

– Опоздала! Опоздала, ma chère, и, вообрази:, из-за этой проклятой редакции! Приезжаю на поезд, бегу к кассе... Заперта! Поезд ушёл! Ну, вот, я к тебе, посидеть, повидаться, а в восемь часов нужно опять на вокзал!..

Теперь Мехлюдьев узнал этот голос, догадался, кто была эта опоздавшая дама! Эта была она, романистка!.. О, воля неисповедимых судеб! Это не даром... Что готовит ему ещё неизвестное будущее?!

Он насторожился и стал слушать дальше.

Теперь говорила хозяйка.

– Помилуй, душечка, как же это они могли тебя задержать? Ты бы им сказала...

– Ах, ma chère<sup>3</sup>, ты себе представить не можешь, что это за люди! Это монстры какие-то, право! Во-первых, урод на уроде!.. Ни одной, знаешь, красивой, интеллигентной физиономии... Хохлатые, бородатые, фи!.. Потом, грубы, не знают никакого обхождения! Редактор совсем какой-то сумасшедший! Затем, ещё какой-то нахал... Нет, представь, какой вышел скандал... Сижу я, вдруг... Нет, я об этом потом... Другой ещё там лупоглазый такой, противный... «Не моё, говорит дело»... Я к третьему – длинный, взъерошенный, в роде орангутанга, –

---

<sup>3</sup> Моя милая (фр.).

а он представь, смерил меня взглядом и, вообрази, фыркнул, так-таки фыркнул прямо мне в лицо!.. Ну, уж я их и отчитала, будут довольны! – закончила романистка.

Наступила пауза, в течении которой слышно было, как дамы что-то жевали и прихлёбывали.

– Но каковы нахалы, *ma chère!* – снова шипела романистка. – И это – члены редакции интел-ли-ген-ция! Ну, уж, и отделала же я их! И неучи-то, и грубияны! А пуще всего досталось орангутангу... Знаешь, что я ему сказала? «Вас бы, говорю, следовало показывать за деньги, милостивый государь!» Вот что я ему сказала! Затем вышла в переднюю, хлопнула дверью, на извозчика, и прямо на вокзал. Скажи, пожалуйста, какие это у тебя фасоны? – вдруг переменяла разговор романистка: – это, кажется *façon-blouse*? Да, да, так и есть! Вот и кушак, и фестоны..

– Да, это *façon-blouse*, – скромно созналась хозяйка.

– А что я видала у Анны Львовны – прелесть что такое! Слушай! Гладкая юбка гарнирована внизу широким бие и воланом плиссе! Вторая юбка из сисильена...

Лежавший на своём диване Мехлюдьев вознамерился переменить положение и перевернулся опять на живот. Вследствие этого диван издал звенящий звук, достигший, вероятно, ушей собеседниц, потому что они тотчас же понизили голос и стали шептаться. Затем, обе дамы совершенно притихли и даже перешли в другую комнату.

Вместо сумерек наступила теперь темнота, в которой смешались все очертания предметов!.. Мрачные думы в голове беллетриста тоже смешались в один безразличный хаос, и благодетельный сон смежил его вежды, послав на смену реальных мыслей ряд прихотливых видений... Но видения эти имели тоже тревожный характер. То ему снилось, что Серафима Одурец заставляет его учить наизусть свою рукопись, за то, что он не может написать «Мировую Проказу»; то он видел себя счастливым обладателем измождённой дамы с жгучими глазами, которая щебечет по птичьим стихотворения, который сочинил взъерошенный критик, оказавшийся вдруг известным поэтом... «Не надо, не надо стихотворений! – жалобно молил Мехлюдьев, маясь в беспокойстве по своему жёсткому ложу, а ночь ползла и надвигалась, а с нею ползла и надвигалась над головою погруженного в сон беллетриста сплетавшаяся во мраке неизвестного будущего цепь новых событий...

## VI. О том, как из малых причин готовятся возникнуть какие-то большие последствия

Нам, летописцам этой правдивой истории, начинает сильно казаться, что один из главных героев её, которым мы, может быть, слишком долго занимали внимание читателя, пожалуй, чего доброго, не взирая на все почтенные качества, украшающие эту глубокую и возвышенную натуру, – каковая, смеем надеяться, успела достаточно выясниться в представлении читателя, – несколько уже наскучил ему. Мы рады были бы ошибиться, но раз уже таковое подозрение закралось, оно начинает терзать нас, мы даём клятвенное обещание скоро покинуть Мехлюдьева – точнее, отвести ему второстепенное место и высыпать перед читателем, вознаграждая его терпение, целую группу новых героев. Но, пока, волей судеб, управляющих течением этой истории, мы достигнем этого пункта, считаем не лишним вернуться на время к покинутому нами Скакунковскому.

Этот почтенный господин, имевший, по собственному его признанию, три неизменные бедствия в жизни: малый рост, гланды и катар, – если устранить неустранимое первое – малый рост – пользовался в настоящее время отменным здоровьем и, как последствием его, отличным расположением духа, нисколько не изменявшимся от того, что он жил в одном из грязнейших домов грязнейшей набережной Лиговского канала, и, будучи обременённым многочисленной семьёю, обременял себя ещё и литературными занятиями, т. е. совмещал в себе два взаимно-враждебные и взаимно-уничтожающие начала.

Сюда, под сень литературно-семейного очага, измученный бесплодными шатаниями по городу, приволакивал свои усталые ноги Мехлюдьев, здесь, под несмолкаемый писк и рёв детей, оба друга, сидя один против другого и храня торжественное молчание, совершали необходимый для них обмен мыслей и делились впечатлениями дня; здесь, наконец при посильном содействии графинчика, понемногу развязывались их языки, и Скакунковский, как субъект, обладавший более живым темпераментом, задавал своему закадыке вопрос, в роде следующего: «Пишешь?»

На что со стороны мрачно упёршегося в одну точку Мехлюдьева слышался лишь протяжно-сокрушающий вздох.

– Чёрт возьми! – восклицал Скакунковский: – Ну что тебе мешает, скажи мне на милость? Что тебе мешает, хотел бы я знать?

Вместо ответа, со стороны Мехлюдьева следовал тот же протяжно-сокрушающий вздох.

– Это возмутительно! – волновался все сильнее и сильнее Скакунковский. У тебя есть всё: отдельная, покойная комната, тихие хозяева, почти никогда и дома не бывают...

И опять тот же вздох служил единственным ответом Мехлюдьева.

– Чего тебе ещё нужно? – продолжал терзать Скакунковский. – Да если бы мне такую обстановку... Я уж не знаю, чего бы я ни сделал! А то дети, писк, гам, жена с хозяйственными заботами... Слышишь? Нет, ты обрати внимание!.. Слышишь?..

При этом Скакунковский делал трагический жест указательным перстом по направлению к двери, за которою бурлил и клокотал во всю, разливаясь на всевозможные звуки, его «семейный очаг»:

– Мама, дай булочки...

– Уа-уа!

– Мама, что это Петька дерётся?!

– Ха!.. Семейное счастье!. – сардонически вопиял коротыш, потрясая на Мехлюдьева носом, как будто тот был виновником всего этого, – понимаешь ли ты, как это должно вредно отзываться на творчестве? Нет, ты не поймёшь! Ты один! Ты счастливец! А я-то, брат, понимаю отлично! Я каждый день замечаю. как я все более опошляюсь, мельчаю! Фантазия гиб-

нет! Душа засыхает! А между тем я знаю, что во мне ещё много творческих сил... Посмотри вокруг... Что из себя представляет современная литература? Дрянь! Мелочь! Пигмеи! Где таланты? Нет, ты осмотришься вокруг хорошенько и скажи где таланты?

Скакунковский умолкал и испытующе смотрел на Мехлюдьева. Мехлюдьев, ворошился на стуле, бросал окрест унылый взор и со вздохом отвечивал:

– Их нет.

– Их нет! – торжествующе восклицал Скакунковский. – Где теперь идеалы? Какие теперь цели искусства? Гроши, построчная плата – вот к чему сводится всё! Нет, ты мне скажи, ради Бога где идеалы?

Скакунковский опять умолкал и пытливо смотрел на Мехлюдьева. Мехлюдьев вздыхал и затем сознавался:

– Нет идеалов...

– Нет идеалов! – восклицал Скакунковский: – Современная литература – базар, на который всякий торгаш тащит самую последнюю дрянь, с целью её подороже продать! Вот как я смотрю на неё! И чувствовать, сознавать в то же время, что в тебе горит искра Божья, что ты мог бы создать талантливую вещь – и не в силах, потому что весь опутан прозой жизни, кухонными дрызгами, заботами о том, чтобы отдать за квартиру, купить дров и пр., и пр... Вот где настоящий трагизм! – заключал Скакунковский свою красноречивую тираду, хватая графинчик и наполняя рюмки себе и приятелю, после чего восклицал отчаянно: – Выпьем!

Оба чокались, выпивали, крякали и, сморщившись, тыкали вилками в тарелку с селёдкой.

Как бы то ни было, после нескольких манипуляций с графинчиком чело хозяина прояснялось, и он предлагал Мехлюдьеву прочесть рассказ, написанный в несколько дней, с целью преподания необходимых советов и указаний.

– Читай! – слышался унылый шепот Мехлюдьева.

Скакунковский читал, под аккомпанемент клокотанья семейного очага, умудряясь обращать от времени до времени отдельные восклицания по направлению к этому очагу, в целях водворения необходимая порядка:

«Девушка стояла на краю обрыва, прямо лицом к заходящему солнцу, – читал Скакунковский. и вдруг обращался à part<sup>4</sup>: – Лиза, да дай же Петьке, чего он там просит! – «Её выразительное молодое лицо, с тонкими прядями тёмных волос... (Тише, вы, там! Всю башку разломили!)... с тонкими прядями»...

– С «густыми» – лучше, – заявлял Мехлюдьев.

---

<sup>4</sup> В сторону (*фр.*).



– «С густыми прядями тёмных волос, – продолжал чтение автор, – было печально. Вся фигура молодой девушки, изящными, стройными формами, обличавшими принадлежность её к аристократическому кругу»... (Чёрт бы вас всех побрал, дадите ли хоть минуту покоя!?) – и т. д.

Как бы то ни было, чтение доходило до конца, и Мехлюдьев внимательно выслушав произведение приятеля, снабдив его своими примечаниями и дав ему должную по достоинствам аттестацию, простался и уходил домой, ещё более мрачный, чем каков он был ранее, до прихода сюда.

Да, тоска его была велика и всеобъемлюща! Всюду, где бы он ни появлялся, он носил её с собою, как то ядро, которое служит необходимым спутником тулонского каторжника. Все, что он видел вокруг, давало пищу его мрачным думам. Все двигалось, жило, дышало, всё имело своё место на жизненном пиру, лишь в его душе царили пустота и мрак! Он смотрел на окружающее и чувствовал зависть. Жизнь окружающего, длительная, хлопотливая жизнь катилась всё вперёд и вперёд – лишь он один стоял на точке замерзания. И поэт с древесными псевдонимами успел написать и проскандировать несколько дюжин новых стихотворений... И достойная подруга его успела приготовить не мало бифштексов. Даже канарейки значительно усовершенствовались в неумолчном трещании и хорошо научились аккомпанировать скандирующему поэту... А. Мехлюдьев со своей «Мировой проказой» так и не сделал за все это время ни одного шага вперёд!

Он уже чувствовал» себя забытым, низринутым в пучину безвестности, погубленным и посрамлённым, забытым, уничтоженным!..

Однажды он лежал на своём диване и предавался обычным мрачным думам. Стоял вечер и в окно шлепал дождь... Канарейки давно уже умолкли... Кунички не было дома. В квартире была тишина, и лишь за стеной раздавались слабые звуки разговора вполголоса.

Он долго лежал так, углублённый в себя, как вдруг приподнялся и начал прислушиваться.

Чей-то голос упомянул его имя. Это был голос совсем для него незнакомый, голос протяжный, замогильный, зловещий...

Другой голос, принадлежавший поэту с древесными псевдонимами, тихо ответил:

– Он самый!

Мехлюдьев сел на диване и насторожил оба уха, стараясь не проронить ни единого слова.

– Он спит? – спросил зловеющий голос.

– Спит! – ответил голос поэта.

– Гм! – сделал незнакомец.

– Вы имеете некоторые виды? – спросил поэт.

– Имею, – шёпотом отвечал незнакомец, и этот шёпот показался Мехлюдьеву чрезвычайно таинственным, исполненным каких-то страшных предзнаменований... Наступила длинная, тягучая пауза, в течение которой Мехлюдьев успел несколько раз побледнеть и покраснеть, и изошрить свой слух до степени уловления дыхания собеседников.

– Некоторые? – снова спросил поэт.

Новая, мучительная, о, какая мучительная пауза!

– Да, некоторые! – твёрдо отвечал незнакомец с замогильным голосом.

– Вы с ним знакомы? – спросил поэт.

– Нет, но *вы* с ним знакомы! – ещё твёрже, и, как показалось Мехлюдьеву, суровее отвечал незнакомец.

– Вы хотите, чтобы я вас познакомил? – спросил поэт.

– Непременно! – совсем уже твёрдо отвечал незнакомец.

И опять новая, адски мучительная пауза!

– Вы думаете, он будет подходящий? – спросил поэт.

– Вполне! – отвечал незнакомец.

– И может оказаться полезным^?

– Несомненно!

Тогда поэт сказал какое-то слово, которое Мехлюдьев, при всех усилиях слуха не в состоянии был разобрать.

– Ну вот ещё! – твёрдо отвечал незнакомец. И вдруг опять понизил голос до шёпота: – Это нужно сделать как можно скорее. Он должен быть наш... Он привлечёт других, и тогда мы выкинем красный флаг!

«Красный флаг!!»

Мехлюдьев припрыгнул на диване, причём одна из не совсем твердых в своём направлении пружин болезненно звякнула.

«Красный флаг!!!»

Мехлюдьев спустился, вернее-сполз с дивана, приблизился к двери, за которою происходил разговор и, весь обмирая, прильнул к замочной скважине глазом...

Вот что он увидал.

На столе горела лампа. С одного края стола сидел поэт с древесными псевдонимами, с другого – темнела фигура незнакомца, обладателя замогильного голоса. Он сидел, весь окутанный облаками табачного дыма, но яркий свет лампы явственно озарял его голову и вид этой головы потряс Мехлюдьева холодным трепетом от макушки до пяток.

Густая копна черных волос... Взъерошенная борода в виде войлока... Лицо – мрачное, смуглое, с глазами на выкате, которое могло бы послужить прекрасной натурой художнику, для изображения Стеньки Разина, или на худой уж конец, разбойника с большой дороги...

Мехлюдьев чувствовал, что колени его отбивают друг о дружку барабанную дробь, и холодный пот выступает крупными каплями... Он добрался до дивана и сжался в комок, как бы отдав своё брэнное тело под защиту его равнодушных объятий...

Он думал услышать ещё что-нибудь, но голоса умолкли и хлопнула дверь. Вероятно, гость и хозяин перешли в соседнюю комнату.

О, зачем, зачем он им понадобился?! И зачем, именно он – скромный литератор, художник, никогда не преследовавший никаких других целей. кроме целей искусства? Разве они не могли бы найти кого-либо другого? Кажется, ни его прошлое, о котором ни хозяин-поэт, ни

тем более, гость, этот таинственный незнакомец с страшной наружностью, не должны были знать ничего, ни его настоящее, отданное всё целиком созданию «Мировой проказы», не дают им ни малейшего права намечать его орудием для исполнения каких-то ужасных, таинственных целей...

А поэт то, поэт-то – каков? Кто бы мог думать Вот-те и гасконец! «И коровки, и овечки... Нежный говор васильков»... припоминал Мехлюдьев, – И занёс меня дьявол в эту квартиру! Ах, чёрт»!

Но что делать, однако?

Бежать! Да, бежать – единственное средство, которое ему остаётся! И он завтра же переедет на другую квартиру Это будет уже в *пятнадцатый раз* с нового года, но что ж делать? Знать, того хочет судьба!..

Остановившись на этом решении, Мехлюдьев почувствовал себя много спокойнее. Он почувствовал себя настолько спокойнее, что решился лечь спать.

Незнакомец с замогильным голосом, вероятно, ушёл. В квартире царила тишина. Лишь слабо слышалось мерно шлёпанье туфель хозяина. Поэт, вероятно, «творил»...

Но теперь Мехлюдьев уж не верил ему и ничему, ничему в этой квартире он уж не верил!

«Завтра, утром, чем свет» – подтвердил он ещё раз про себя, своё решение на счёт переезда.

Он разделся и лёг.

Но долго он ещё не мог заснуть. Все время перед ним рисовался незнакомец с замогильным голосом, все время ему мерещился «красный флаг»...

\* \* \*

Он вдруг быстро проснулся. В одно мгновение ока проснулся Мехлюдьев, словно от какого толчка.

Он даже привскочил на диване и сел. Вокруг стоял мрак... Было тихо. Отчего же он проснулся?

Только что он успел себе задать этот вопрос, как в кухне звякнул звонок... Он понял причину своего пробуждения. Кто-то звонил. Что это значит?

Тишина. Все спят.

Новый звонок, ещё более громкий, заставил вздрогнуть Мехлюдьева... Страшная мысль озарила вдруг его голову... Не это ли «красный флаг»?!

Этот звонок разбудил всех в квартире. Поэт с древесными псевдонимами, первый, робким голосом воззвал к своей сладко спавшей подруге:

– Куня, Куничка! – зашептал он. – Куничка! Да проснись же, что это ты, право!

– А? А? Что? Что такое? – забормотала сонным голосом Куничка.

– Слышала?

– Что такое?

– Звонят.

– Звонят?

Как бы в ответ на этот вопрос раздался новый, третий по счёту, оглушительный звонок...

– Чёрт! – обругался поэт боязливым тоном. – Что это за свинство? Кто бы это мог быть?

– Поди, посмотри! – отвечала Куничка.

– «Поди, посмотри!» – передразнил поэт. – Поди вот сама и посмотри! Чего я буду смотреть? Какойнибудь пьяный дурак... Ну, вот, вот ещё!..

В то же время раздался испуганный голос Матрёны.

– Барин! Звонят!

– Ну! – крикнул поэт в раздражении. – Звонят! Спроси, кто?

- Я скрашивала, не отвечают.
- Не отвечают? Куничка, слышишь? Не отвечают.
- Вы бы вышли барин.
- Зачем я выйду? Разве их много? Скажи им, что они ошиблись!
- Я говорила.
- Что же?
- Говорит: «отоприте!»
- Гм!
- Нюничка, да ты бы вышел в переднюю, спросил...
- Что я буду выходить один?! Г-н Мехлюдьев! – крикнул вдруг поэт, стуча в стенку. –

Г-н Мехлюдьев! Вы спите?

- Нет, не сплю, – послышался слабый голос жильца.
- Вы слышали? Звонят!
- Да, слышал... – печально отвечал жилец.
- Кто бы это мог быть? А? Как вы думаете, кто бы это мог быть?
- «Кто бы это мог быть? Ха! Блаженное неведение! – думал Мехлюдьев. – И ты не догадываешься? Сказал бы я тебе... *Красный флаг* – вот кто должен быть!..»

Но он это только подумал, вслух же сказал:

- Я не знаю, кто бы это мог быть. Я думаю, что это кто-нибудь из ваших знакомых...
- Как вы думаете, пойти спросить? А! Как вы думаете?
- Я думаю спросить! – отвечал жилец.
- А вы будете так любезны, выйти?
- Я? Зачем же я выйду?
- Ну, всё-таки, нас двое мужчин, да Матрёна, знаете, лучше, когда больше народу!
- Хорошо, я выйду! – покорно отвечал жилец.

Он слез с дивана, кое-как оделся и вышел в прихожую.

Картина, которая ему там представилась, была такова:

На столе прихожей мерцали три лампы. Одна была Матрёны, из кухни, другая – из кабинета поэта, третью зажгла впопыхах Куничка. Ослепительный свет их озарял живописную группу: хозяина, в дезабилье, у входной двери, в оборонительной позе и с половой щёткой в руках, Куничку, в юбке и кофте, вооружённую кухонными щипцами и Матрёну, полуобнажённую, с распущенными, как у ру^ши, волосами, державшую наготове кочергу...

Жилец притулился за дверь и ждал, что из всего этого выйдет...



– Кто там? – неестественным, грозным басом спросил поэт.

– Я! – отвечал таинственный голос за дверью.

– Кто ты? Что тебе нужно? – ещё грознее крикнул поэт, хотя голос его в ту же минуту сорвался, как у молодого петушка, попытавшегося в первый раз кукарекнуть.

За дверью царило зловещее молчание... Сердца всех замерли и, как бы, перестали биться... Половая щётка в руках поэта сделала было наступательное движение, но тотчас же бессильно поникла...

И вот, среди этой зловещей, роковой тишины, таинственный голос за дверью, отдельно и ясно, вдруг произнёс:

– Матрёна! Отвори!

Поэт вопросительно взглянул на Матрёну.

– Ах, барин, постойте! – смущённо заговорила Матрёна. – Я, кажется, зиаю!

И, подойдя к двери, спросила:

– Филат Иваныч?

– Я! Отвори! – послышался голос ночного пришельца.

Дверь открылась и в прихожую ввалилась кульком, вся мокрая, точно вынырнувшая только что сейчас из воды, фигура человека. в пиджаке и фуражке. Она мотнулась направо, налево и, ослеплённая светом трёх ламп, попятилась к двери...

– Он пьян! – взвизгнула Куничка.

– Он пьян! – воскликнул поэт.

– Ты пьян! – заговорила Матрёна. – Что ты там мелешь? Какая тебе Матрёна? Очумел! Господ только тревожишь! Звонишься ещё! Ступай, ступай, нечего тут! Ступай, а не то – вот сейчас кочергой.

– Пошёл вон! – грянул поэт, овладевший вдруг своею властью хозяина.

– Вон!! – присоединились дуэтом Мехлюдьева с Куничкой.

- Тебе что нужно здесь, а? Ты как смел звониться, а? Каналья! ВоньМ гр'емЪл поэт.
- Это всё... Ма-трё-на! – повинно мотнул головою пиджак, икнул и прислонился к стене.
- Вон!! – топал ногами поэт.

Но Матрёна успела уже перевернуть посетителя к двери лицом и, усердно барабаня его в мокрую спину, вытеснила, наконец, на площадку.

Там в последний раз мелькнули спина пиджака и фуражка, затем всё исчезло, дверь хлопнула и брякнул железный засов.

Теперь пришла очередь отдуваться Матрёне.

– Ах ты, шельма! Ах ты, каналья! – вопияла Куничка, наступая на Матрёну. – Не говорила я, что у тебя на каждом шагу любовники? Скажите на милость, какое нахальство! Даже звониться стали! И по ночам, по ночам!

– Ну, что ж такое! Эка невидаль – «по ночам!» – огрызалась Матрёна, в грязной юбке и с распущенной косой бродя по кухне, и с неистовым грохотом прибирая предметы домашней утвари, которые предполагалось употребить вместо оружия против нашествия иноплеменных и в которых теперь уже не было надобности. – К кому ходят днём, а к кому ночью...

– Что? Что ты сказала? Повтори!

– Проехало!

– Нет, ты повтори, что сказала! – приступала хозяйка.

– Что? повтори, что ты сказала? – откликнулся с своей стороны и поэт.

Прозревая своей чуткой душой, что в воздухе надвигается нечто, долженствующее разрешиться сейчас какою-то сценой, характер которой делает присутствие всякого постороннего человека совершенно излишним, деликатный герой наш быстро устремился к себе.

Накрывшись, по обычаю, с головой одеялом, он старался призвать к себе благотельный сон, но бесплодно. Чаша треволений этой ночи должна была, очевидно, наполниться до самых краёв. Как ни старался он, елико возможно, плотнее укутать голову свою одеялом с целью заглушения посторонних звуков, они все же назойливо врывались в уши его в виде восклицаний и отрывочных фраз голоса Матрёны уже не было слышно. Кричали поэт и Куничка.

– ... Вот она, вот, собственная прислуга... Добились!.. Собственная прислуга, распущенная девка, которую давно бы следовало прогнать... Не правда ли, да? Вы согласны? Собственная прислуга позволяет себе...

– Ах, ах, ах! – стонала и всхлипывала подруга.

– Ведь, не правда ли, вы согласны, что если она позволяет себе...

Мехлюдьев зажал оба уха и издал стенанье:

– О, Господи! Вот наказание!

Он лежал так несколько времени, зажимая изо всей силы пальцами уши, в результате чего получилось отсутствие звуков. С другой стороны, это положение, в силу своего неудобства, исключало всякую возможность заснуть. Он вынул пальцы из отверстий ушей, и в ту же минуту волны бушующей бури не преминули в них снова ворваться.

Теперь уже раздавался голос Кунички.

– Вы меня обратили в кухарку! Я с вами иссохла! И ваш глупый язык смеет ещё поворачиваться...

– Молчание! – взвизгнул поэт.

Мехлюдьев стремительно зажал опять оба уха, погрузив себя в искусственное состояние спокойствия. Однако, чувствуя что лицо его наливается кровью, он, спустя несколько времени, принуждён был отнять снова пальцы, возвратив себе, таким образом, способность всё слышать.

Буря бушевала во всю.

– Да как ты смеешь? А? Кто ты таков? А? Что ты себе воображаешь? Ты хозяин? А хочешь, я тебя выгоню вон? Вон! Чтобы и духу твоего не было! Вон!!

Голос подруги поэта слышался теперь из другой уже комнаты, из чего можно было заключить, что поэт решился на благородную ретираду.

Затем началась беготня и послышалось падение, вернее – швырянье куда-то в пространство каких-то вещей, в том числе разных принадлежностей гардероба, о чём можно было судить по резкому звуку, похожему на звук соприкасающихся с полом металлических пуговиц.

– Бери! Получай! Вот твой подлый сюртук! Вот твои поганые сапожонки! Вот твоё проклятое бельишко! Вот тебе! Вот! Вот! Вот!

В эту минуту..

Однако, не лучше ли будет, если, в интересах читателя, которого мы, в силу сурового долга, налагаемого обязанностью историка, иногда против воли, заставляем присутствовать при том, чего он видеть и слышать, пожалуй, не хочет – поторопимся опустить заблаговременно занавес?..

\* \* \*

Розоперстая Аврора успела прокатить на своей лучезарной колеснице четверть полуночного неба, под которым тем временем успело совершиться немало разных событий: выйти много газет и журналов, разыгаться несколько ссор и проделаться несколько подлостей и мошенничеств, когда Мехлюдьев разомкнул, наконец, свои усталые вежды, попросту говоря – пробудился.

Весёлое солнце наполняло всю комнату. Канарейки заливались серебристыми трелями. На крыше противоположного дома томно ворковали и нежились голуби. На дворе звонко и весело распевал что-то разносчик...

Если бы для этой лучезарной картины зачем-либо потребен был диссонанс, то лучшим образчиком его могла послужить в этом случае фигура Мехлюдьева.

Брненное тело его, облечённое в складки измятого ночного белья, уныло цепенело в углу на диване. Голова удручённо поникла. Взор мутен. Спутанным космы волос в беспорядке повисли, как у утопленника, только что вытащенного из воды.

Сердце его раздирало тупое отчаяние и безотрадные думы бороздили чело.

Он теперь уже ясно, бесповоротно решил и убедился самым осязательным образом, что над ним тяготеет роковая судьба, что счастье и покой для него недоступны, что куда бы ни забросила эта судьба утлую ладью его жизни – сейчас же явится нечто такое, что заставит искать для неё новую пристань, что, словом, – он вечный и непрестанный скиталец! И вот, даже теперь, всего несколько дней, как забросил он якорь, собравшись вплотную приняться за «Мировую Проказу» – как нарочно нужно было явиться какому-то таинственному «красному флагу», который перевернул вверх тормашками все его планы и наполнил смятением заставляя утекать отсюда подобру-поздорову!

О, «красный флаг»! Будь он проклят!

Он оделся, умылся без содействия Матрёны и, решив даже не беспокоить её распоряжением насчёт самовара, поволок свою фигуру в прихожую.

– Г-н Мехлюдьев! Г-н Мехлюдьев! – раздалось из недр поэтического очага, когда владелец этой фамилии напяливал на себя пальто, уже наготове исчезнуть.

Если бы теперь что-либо в состоянии было заинтересовать его, кроме той мысли, которая продолжала угнетать его голову, то происшедшее затем обстоятельство должно бы было дать обильную пищу его размышлениям на тему о загадочности и сложности существа человеческого.

После того, что произошло в эту ночь, следовало бы ожидать, что поэтическая чета всё порвала, окончательно и радикально, между собой в этом мире... Совершенно напротив! Оба

супруга стояли в дверях весёлые, сияющие, как «молодые» на другой день после брака, и приветливо улыбались Мехлюдьеву.

– Вы надолго уходите, г-н Мехлюдьев? – спросил поэт, озаряя ослепительным блеском зубов всю прихожую.

– Н-не знаю... Должно быть, надолго, – отозвался Мехлюдьев, мрачно смотря в сторону двери на лестницу.

– Как ваше здоровье, г. Мехлюдьев? – спросила со своей стороны и дама с жгучими глазами, пленительно ему улыбаясь.

– Н-ничего... Благодарю вас...

– А какова погода-то? А? Не правда ли, а? Прелестная? Да? Вы согласны? восторженно воскликнул поэт.

– М-да... Погода... Ничего... – буркнул Мехлюдьев, возобновляя своё намерение исчезнуть.

– У нас до вас просьба...

Но Куничка тотчас же перебила супруга и с той же пленительной улыбкой пропела умоляющим голосом:

– Мы очень, о-очень вас просим!..

– ...Пожаловать к нам сегодня вечером по-соседски... – продолжал поэт.

– Пожа-алуйста! – подтвердила с своей стороны и его подруга.

– Соберётся кой-кто...

– Поэты, писатели!

– Веды вы будете, да? Вы не откажете, да?

– Я... я... право, не знаю...

– Нет, дайте слово! – воскликнул поэт.

– Дайте честное слово! – настаивала с своей стороны и Куничка.

– Не знаю... я... право... – бубнил и терзался Мехлюдьев.

– Мы вас ждём, непременно! – заявил решительным тоном поэт.

– Непременно, слышите, слышите? И знать ничего не хотим! Слышите? – ещё решительнее подтвердила Куничка.

– Слышу! Прощайте! – отчаянным голосом крикнул Мехлюдьев, отдернул крюк, распахнул дверь, хлопнул ею и очутился на лестнице.

«Держи карман!» – размышлял он, вихрем свергаясь вниз по ступенькам. – «Ещё бы!.. Как же!.. Слуга покорный!»...

Он сбежал с лестницы, устремился через двор, нырнул под ворота, очутился на улице и слился с движением прохожего люда.

Если бы мы пошли за ним по пятам, то это путешествие нас порядком должно бы было измучить. Целый день мы могли бы видеть его бродящим по всем смежным улицам, вроде Николаевской, Надеждинской, Знаменской, по той или другой стороне. Мы могли бы видеть его у ворот того или другого дома всех этих улиц, внимательно читающим наклепанные по бокам их билетки с извещениями о сдающихся комнатах. Потеряв его на время из глаз, мы могли бы его уследить на какой-нибудь лестнице звонящим у дверей какой-либо квартиры и снова стремящимся вспять... Мы отнюдь не расположены этого делать и предпочитаем привести его в сумерки, насилу волочащего ноги, прямо к закадычному другу его, Скакунковскому.

Деятельные ноги сего мужа, находившийся, как уже известно, в постоянном взаимодействии с его пылкой головой, нисколько не обременённые тяжестью его тела, бодро носили сие последнее по крошечной и невзрачной комнате, которой было присвоено громкое название кабинета.

– А! – сказал Скакунковский. – Здорово!

Мехлюдьев беззвучно мотнул головой.

– Садись, – сказал Скакунковский.

Мехлюдьев расслабленно дотащился до стула, плюхнулся на него, как мешок, и тотчас же удручённо поник.

Скакунковский смотрел на него выжидательно. Мехлюдьев молчал.

– Устал? – спросил Скакунковский.

– Устал, – угасшим голосом отозвался Мехлюдьев..

– Гм! Что же ты делал?

– Ничего.

– Гм! Где же ты был?

– Везде...

– Как? Что такое?

– Ничего... Искал комнату...

– Как искал комнату? Это что значит? Зачем тебе комнату?

– Переезжаю...

– Опять?!

– Опять!!

– Ты с ума сошёл!

– Иначе нельзя!

– Расскажи толком, в чем дело.

– Иначе нельзя, потому что... иначе нельзя! *Красный флаг!*

Скакунковский с беспокойством, даже со страхом взглянул на приятеля. Мехлюдьев молчал, уставившись в землю. Скакунковский попятился, потом робко спросил:

– Послушай... Ты... тово... У тебя голова ничего?.. Не болит?

– Ничего... Не болит... – отозвался Мехлюдьев. – Только я должен бежать...

Скакунковский ещё немного попятился.

– Это, брат, целая история. и я пришёл к тебе за советом, – продолжал Мехлюдьев. – Ты слушаешь?

– Слушаю, – дрогнувшим голосом сказал Скакунковский, продолжая со страхом смотреть на своего закадыку и садясь на почтительном от него расстоянии.

– Ну, так слушай. – начал Мехлюдьев и от слова до слова рассказал, что успел уловить из подслушанной им накануне беседы своего поэтического хозяина с обладателем замогильного голоса, затем описал ночные тревоги и всё затем происшедшее.

– Ну, и вот, теперь объясни мне, что все это значит?! – воскликнул он под конец.

– Слава Богу, – с облегчением вздохнул Скакунковский, – а я, признаться, брат, думал, что ты уж – тово...

– Что – тово?..

– Так, ничего... Я тебе всё это сейчас разгадаю!

Скакунковский сделал глубокомысленное лицо, Мехлюдьев ждал... Скакунковский стал ходить по комнате... Мехлюдьев ждал. Скакунковский сел и сделал опять глубокомысленное лицо... Мехлюдьев всё ждал. Но так как ничего из этого не вышло, то он, наконец, с нетерпением воскликнул:

– Ну, так что же, что же, по твоему?

– Человек с замогильным голосом, говоришь?

– Ну, да! Голос, как из водопроводной трубы...

– Гм! И он сказал: «выкинем красный флаг»?

– Да, сказал.

– Не сказал ли он ещё чего-нибудь?

– Ровно ничего!

Скакунковский приблизил губы к уху приятеля и шепнул одно только слово:

– *Сердце-вед!*

– Ну-у? – попятился Мехлюдьев и, затем храбро прибавил: – Не может быть!

. – А кто же, по-твоему?

– А вот кто! – начал Мехлюдьев, и вдруг озарённый новой догадкой, воскликнул: – Издатель!

– А что ты думаешь! – тотчас же воспламенился и Скакунковский: – Очень может быть, что, это издатель! Да, конечно, это издатель! Издатель, набирающий сотрудников! Это ясно! Теперь и красный флаг понятен! Красный флаг – это направление! Вот видишь, видишь, как я проницателен?!

– Ну, а что значит, что я приглашён сегодня к хозяину на вечеринку?

– На которой будет и замогильный голос?

– Ну, этого я не знаю.

– Будет, непременно будет! – с уверенностью сказал Скакунковский. – Вот увидишь, что будет! Это ясно, как день, и вечеринка устраивается, с, целью вербовки сотрудников. Иди, иди, непременно!

– А что, если бы и ты? Знаешь, оно как-то вдвоём безопасней.

– Что же? Я могу! Приду! Непременно приду! Только вот попозднее... А ты торопись! Теперь уж пора.

– Я, пожалуй, пойду! – поднялся на свои длинные ноги Мехлюдьев. – Так придёшь?

– Приду, если только...

– Ну, что там ещё?

– Если только, катар не разыграется...

Мехлюдьев махнул рукою и поволок своё тело в прихожую.

## VIII. Красный флаг.

Когда Мехлюдьев, сняв в прихожей пальто, переступил порог поэтической квартиры, взорам его представилось следующее.

Гостиная (совмещавшая в себе одновременно назначения: столовой, залы и кабинета), была освещена *à giorno*<sup>5</sup>. Свет эффектно сосредоточивался на большом обеденном столе, покрытым белоснежной скатертью и уставленном тарелками с яствами, в виде колбасы, сыра, икры и пр., нарезанных тонкими и нежными ломтиками и расположенных в эстетической симметрии, указывавшей на участие в этом поэтической руки хозяина, что, в гармоническом сочетании весёлой группы бутылок, стаканов и рюмок представляло картину, привлекавшую и услаждавшую взор. В глубине плавали облака табачного дыма и сквозь них, как в тумане, слабо вырисовывались фигуры сидящих на диване и креслах гостей и сверкали зубы хозяина.

– А! Наконец-то! Г-н Мехлюдьев! – пропел сладкий тенорок поэта, и в ту же минуту он очутился рядом с вошедшим, подхватил его под руку и повлёк к группе гостей, возгласив торжественным голосом: – Господа! Позвольте представить: г-н Мехлюдьев, наш писатель, которого, надеюсь, всякий из находящихся здесь...

Но в эту минуту раздался единогласный взрыв восклицаний, сопровождаемый шумом поднявшихся с своих мест гостей.

– Как же, мы знаем, знаем г-на Мехлюдьева! По его произведениям знаем! Очень приятно! Очень, очень!..

И несколько рук одновременно протянулось к Мехлюдьеву.

– Г-н Махреев! Г-н Шалов! – провозглашал хозяин.

– Очень приятно! – бормотал смущённый неожиданной для него овацией скромный герой наш.

– Г. Ногтиков! Г. Пухляков!

– Очень приятно!

Церемония представления кончилась и все заняли свои места.

Настало молчание. Овладевший своими чувствами герой наш поднял глаза на компанию.

Махреев смахивал на провинциала и был облечён в мешковатый сюртук и потёртый галстук, в котором торчала булавка в виде пронзённого стрелой сердца. Ногтиков был картавый, рыженький и лысенький молодой человек, перелистывавший лежавшую на столе какую-то книжку и почему-то улыбающийся ехидной усмешкой. Шалов представлял из себя высокого господина с шевелюрою, напоминавшей растрёпанную копну зимовалого сена, которую он беспрестанно ерошил, дымя ожесточённо огромной сигарой. Что же касается Пухликова, то Мехлюдьев, с некоторым беспокойством узнал в нём обладателя замогильного голоса. Теперь, при ближайшем его рассмотрении, все страхи нашего героя разлетелись как дым, так как приходилось сознаться, что в наружности этого господина, за исключением нечёсаной шапки чёрных волос и взъерошенной бороды, не представлялось ничего ужасного. Он самым невиннейшим образом колупал в носу, устремив задумчивый взор на стол с закусками, и лицо его хранило одно выражение (постоянно ему присущее, как впоследствии убедился Мехлюдьев), какое бывает у человека, собирающегося чихнуть.

– Господа, – начал хозяин, – позвольте мне выразить своё удовольствие по поводу того, что моя скромная хата, в настоящую минуту, вмещает в себе предста...

Сильный звонок в прихожей дал всем понять, что скромная хата сейчас же должна будет вместить в себя ещё одного представителя. Вслед затем, в прихожей раздался приятный баритон вновь вошедшего гостя:

---

<sup>5</sup> По-дневному (*фр.*).

– Дома?

В ту же минуту что-то царапнуло в дверь, раз, другой, затем она распахнулась – и что-то чёрное, длинное, тощее ворвалось в круг почтенного общества.

Это было ничто иное, как пёс совершенно вульгарного, даже можно сказать, гнусного вида, слюнявый и лопоухий, с облезшими спиной и боками. Издав, в виде приветствия, лай самого дикого тембра, он обежал вокруг стола с закусками, сделал два-три хищных скачка и стремительно бросился к обществу, с очевидным намерением поздороваться с каждым из членов его, норовя облапить и лизнуть прямо в губы, в ответ на что раздались шлепки, топанье ногами и восклицания:

– Пшол прочь! Прочь! Мерзавец! Прочь!

– Нарцис! Тубо! – крикнул баритон из-за-дверей.

Но Нарцис, вероятно, офрапированный встреченным им приёмом, нырнул под диван и не подал никаких признаков жизни.

– Нарцис!

В дверях показалось жирное лицо, с окладистой, кучерской бородой и нависшей низко на лоб прядью чёрных волос. Маленькие, пытливые глазки быстро и с любопытством обежали всё общество, и затем в образовавшемся пространстве между половинками дверей вырисовалась плотная фигура, облечённая в узко-сидевший замасленный сюртук и таковые же гороховые панталоны.

– А! Вы уже здесь, господа? – добродушно заметила фигура.

Все гости были знакомы с вошедшим, за исключением Мехлюдьева, почему хозяин тот-час же и поспешил их познакомить:

– Г-н Мехлюдьев! Г-н Рыхликов! – И прибавил, указывая на последнего: – Будущая известность! Молодой драматург!

Будущая известность в замасленном сюртуке сделала по комнате несколько шагов взад и вперёд, крепко потёрла, ладони одну о другую и бросила взгляд на закуску...

– Нарцис! Прочь! – внезапно взвизгнул хозяин, бросаясь в конец комнаты, где Нарцис, успевший уже вылезти из-под дивана, ободряясь присутствием своего господина, стоя на задних лапах и упираясь передними в край стола, пристально смотрел на ломти ветчины... С помощью носового шатка, Нарцис был возвращён в границы приличия.

– Ах, господа, читали? Знаете новость? – воскликнул драматург, небрежно разваливаясь в кресле.

– Какую новость? – воскликнули все.

– Неужели никто не читал?

– Что, что такое?

– Да как же, помилуйте! – возопил драматург: – Неужели так-таки никто не читал?

Внимание всех было возбуждено до крайних пределов, но Рыхликов, очевидно, намеревался довести его до апогея, потому что ничего не ответил на вопрос, встал и прошёлся по комнате.

– Да говори же, пожалуйста, что такое? Экая у тебя привычка! Заинтересует всех и молчит!.. – раздражённо-замогильным голосом забубнил Пухляков.

Но Рыхликов прохаживался себе, как ни в чем не бывало. и только проходя мимо Пухлякова, многозначительно улыбался.

Все с большим любопытством следили за его движениями.

– Слушайте, господа! – торжественно начал Рыхликов. – Во вчерашнем номере «Обще, доступной квашни»...

Но тут всё общество воскликнуло, как один человек:

– Знаем, знаем!

– Что вы знаете?

– Вот те на!

– Эка новость!

– Критическая беседа Скорпионова...

– Читали, читали!

– Ну, а если читали, то нечего и рассказывать! – спокойно заключил Рыхликов, снова обращая свои любопытные глазки на стол с закусками.

– Господа... – начал. Бог весть в который уже раз хозяин, – позвольте мне выразить...

Но и на этот раз речь его была прервана в самом начале. Дверь рядом с диваном, ведущая в спальню и остававшаяся раньше всё время затворённой, стремительно распахнулась, треснув прямо в плечо сидевшего ближе всех к ней поэта, тотчас же мелькнула и скрылась, мгновенно, как молния, толкнувшая его нога в башмаке и затем открылось торжественное шествие Матрёны, облечённой в шумящее при каждом движении новое ситцевое платье и несущей большой поднос с налитыми чаем стаканами, а за ней по пятам шла сама хозяйка с лоточком, в котором возвышались привлекательной горкой сухари, крендельки и сдобные булочки.

– А-а-а, чаек! – не проговорил, а как-то сладостно прорычал драматург, первый протягивая руку к стаканам и погружая другую в вазочку с сахаром, причём два куска упали и покатились по полу. В ту же минуту вынырнувший из-под дивана Нарцис поспешил затушевать неловкость, своего господина, похитив оба куса, между тем как Рыхликов галантно расшаркивался и держа стакан в левой, руке, правую протягивал хозяйке.

Все занялись чаепитием. Воцарилось молчание. Вновь появилась Матрёна, отобрала пустые стаканы, и снова опять появилась с наполненными горячей влагой, Рыхликов отверз уста и рассказал анекдот. К сожалению, он оказался, по заявлению всех, где-то уже давно напечатанным. Опять воцарилось молчание. Рыхликов отверз снова уста и рассказал ещё анекдот. Этот нигде не мог быть напечатан, потому что, по свойству своему, отнюдь не должен был касаться женских ушей, вследствие чего Рыхликов рассказал его, затворив предварительно дверь и значительно пониженным голосом. К сожалению, и этот анекдот тоже оказался давно всем известным. Снова воцарилось молчание. На лицах гостей выражалось томление. Взоры всех неподвижно покоились на заманчивой плоскости, покрытой белоснежной скатертью и уставленной яствами... Опять, в третий раз, отверз уста свои Рыхликов, и тихим, мечтательным голосом *à part*, произнёс:

– Водчонки теперь хорошо бы?..

Пухляков кашлянул. Ногтиков высморкался. Остальные хранили спокойствие.

Но хозяин в ту же минуту воспрянул со стула и заверещал радостно сверкая зубами:

– А, в самом деле, ведь хорошо? Да, хорошо? Вы согласны?

– Мм... оно, пожалуй, ничего... хорошо... закусить... Что ж, ничего! – замогильным голосом отозвался со своей стороны Пухляков.

– И выпить! – подтвердил драматург, энергично потирая ладони.

– В таком случае покорно прошу... Господа! Покорно прошу! – пропел хозяин..

Гости дружно снялись с мест и двинулись гурьбою к столу, влача за собою седалища. Чрез минуту стол яств представлял приятное для глаз сочетание носов, бород и усов с тарелками, стаканами, рюмками... Послышалось бульканье льющейся живительной влаги, чоканье, криканье, и опять и опять, бульканье, чоканье...

– Господа. – начал хозяин, – позвольте мне сказать, что мне необыкновенно приятно...

Но и на этот раз судьба помешала окончанию столь упорно начинаемой речи, так как в ту же минуту разыгралось событие самого неожиданного, фантастического свойства.

В кухне послышались – вопль, грохот, возня, – и, вслед затем, в комнату стрелой ворвался провиденциальный Нарцис, волоча по полу в пасти какую-то тёмную массу, а вдогонку за ним в открытое пространство дверей, влетело и грохнулось о пол полено...

Среди наступившего тотчас смятения раздался голос хозяйки, которая выбежала из кухни и всплеснула руками.

– Боже мой ростбиф!.. Ах, какое несчастье!.. Нюничка! Нюня!.. Ростбиф!.. Ведь он ростбиф сташил!

– Господа!.. Пожалуйста!.. Ради Бога! – завизжал и заметался хозяин. – Помогите! Держите! Ловите!



И он, с опасностью размозжить свой открытый и поэтический лоб, ринулся на четвереньках к дивану, где, во мраке, рыча, урча и давясь, хищный Нарцис самым энигергичным образом расправлялся с добычей.

Конечно, было бы постыдно отнестись с равнодушием к такому наглому нарушению всяких прав собственности, проявленному хотя бы со стороны неразумного пса, почему кое-кто из гостей схватили со стола по свече и, в одно мгновение ока, в углу перед диваном образовалась весьма живописная группа на четвереньках всех участников пиршества, между тем, как сам счастливый обладатель Нарциса, успев во время смятения налить и отправить в рот рюмку водки, воскликнул, торопливо глотая закуску и тоже бросаясь к дивану:

– Ах, какая каналья! Вот я сейчас его вздую!

Оставалась на ногах одна только Куничка, которая, стоя поодаль и ломая руки, с мучительным ожиданием следила за результатом происходившей у дивана борьбы с наглым хищником. Вместо самого хозяина виднелись только подошвы его сапогов, между тем, как всё туловище исчезало под диваном, в опасном соседстве Нарциса, и оттуда слышался глухой задыхающийся голос поэта:

– Нарцис! Тубо! Каналья! Тубо!

– Нарцис! Тубо! Нарцис! – вторила группа гостей на четвереньках.

– Р-р-р-р... Гам, гам! – отвечал из под дивана раздражительным басом Нарцис.

– Господа, я дегжу за хвост его! – прокартавил торжествующим голосом Ногтиков. –

Ташите из зубов его гостбиф!

– Ташите ростбиф! – слышался отчаянный голос Махреева.

– Ах, шельма! Кусается! – воскликнул обладатель замогильного голоса.

– Р-р-р-р... Гам, гам!

В одно мгновение ока группа перед диваном шарахнулась в разные стороны. Кое-кто вскочил на ноги. Дело в том, что осаждённый Нарцис рискнул на диверсию. Ухватив крепко в зубы оставшийся кусок ростбифа, он ринулся грудью на осаждавших, перепрыгнул через тело хозяина, повалил навзничь Мехлюдьева, выронившего при этом из рук свечку, и вихрем устремился в дверь спальни, не выпуская из пасти добычи.

Сражение было, очевидно, проиграно.

– Эх, свинство какое! – заявил Пухляков, кряхтя и поднимаясь с коленей.

– Я дегжал за хвост его, что же вы не тащили? – укорил его, тоже поднимаясь на ноги, Ногтиков.

– Что ж не тащили! Кусается! – оправдывался обладатель замогильного голоса.

Сам хозяин уныло молчал и даже не улыбался. На нем ярче всех отражались следы героической борьбы. Поэтический лоб его лоснился от пота, и на нем виднелась даже в одном месте ссадина... Кончик носа был обвит паутиной. На самой середине груди крахмальной сорочки, зияло, как рана, тёмно-красное пятно от подливки... Руки были покрыты пылью и грязью, словно на них надели перчатки... Он тотчас же скрылся, чтобы привести свою внешность в порядок.

Общество снова столпилось у стола, отряхиваясь, чистясь, и собираясь с мыслями и чувствами. Промелькнула стремительно в спальню Матрёна. Через несколько минут она промчалась обратно в кухню, влача за шиворот упирившегося и огрызавшегося виновника всей кутерьмы... Рыхликов обвёл взором общество и заявил:

– Что ж, господа? Надо выпить!

Ответом послужило молчание. Тем не менее все заняли свои прежние места, налили, чокнулись, выпили и закусили.

– Повесить её надо, проклятую! – вырвался из кухни довольно явственно голос Матрёны.

В ту же минуту мужественный баритон обладателя Нарциса звучно воскликнул:

– Повторим ещё, господа?! По водчонке!

– Шляется с эдаким...

– Господа, кто читал последнюю брошюру, – прогремел настойчиво Рыхликов, – брошюру, которая... как её?... э... э...

– Какую брошюру? – откликнулось застольное общество.

– Да вот, как её... заглавие... чёрт...

– И как это её угораздило, подлую... – в виде *intermezzo* раздавался голос Матрёны.

Как бы то ни было, беседа мало-помалу вступила в своё надлежащее русло. Разговор оживился.

Послышался спор. Раздались восклицания.

– Егунда! – кричал Ногтиков.

– Господа, нужно же быть европейцами! – покрывал всё и вся баритон Рыхликова...

– Ну, да, европейцами? – бубнил Пухляков: – Россия – сердцевина... Я говорю – сердцевина...

– К чёрту Европу, – крикнул Шалов, вставая. – Пора нам быть самобытными.

– Ну, да, самобытными! – бубнил Пухляков.

– Выпьем за самобытность!

– Выпьем за самобытность!

– Господа, господа, однако, Европа... – вопил, покрывая все голоса, драматург.

О хозяине словно забыли. Зияли отверстые рты, сверкали глаза, гремели тарелки и звучали стаканы... Словом, когда поэт вернулся в среду своих гостей, он застал все общество в большом одушевлении, а путешествовавший по всем направлениям стола графин с живительной влагой – нуждающимся, не смотря на почтенные размеры свои, в радикальном дополнении содержимого.

– Господа! – запел тенорком поэт. – Мне весьма приятно видеть, что некоторый неприятный и даже, можно сказать, прискорбный... да, неправда ли, прискорбный случай, нисколько не расстроил...

– А разве жаркого не будет? – осведомился пониженным голосом Рыхликов.

– ...Не расстроил вашего расположения духа, и я вас вижу весёлыми... да, не правда ли, весёлыми... и оживлёнными! И я очень рад, что мы, вот, все пишущие, вместе! За ваше здоровье, господа!

Эта заветная речь, которую, наконец, удалось докончить хозяину, была приветствована дружными восклицаниями.

– Ура! – крикнул Шалов, – Господа! Я предлагаю выпить за здоровье нашего почтенного хозяина, поэта Нюняка! Ур-ра!

– Ур-ра! – подхватило все общество.

– Господа! – крикнул Махреев, – предлагаю выпить за процветание литературы!

– Родной литературы... Русской... – подхватил Пухляков.

– Русской! Русской!

– Родной!!

– Родной! Родной!

– Ур-ра!

– За процветание нашего кружка!

– За единение нашей дружбы!

– За единение, господа, за единение!

– Ур-ра-а!!

– За единение молодых писателей, ур-ра!

– Ур-р-р-ра-а-а!!

– Господа, прошу выслушать меня! Выслушайте меня, пожалуйста! – визжал и метался от одного к другому, сверкая зубами, поэт.

– Слушайте, слушайте!

– Слушайте!

– Господа! Сейчас здесь был предложен тост за процветание нашего кружка... Действительно, господа, мы составляем кружок... Неправда ли? Да? Вы согласны?

– Согласны, согласны!

– Но наш кружок мал, неофициален, нелегален, не так ли, господа, вы согласны?

– Да, да! Верно!

– На этом основании я хотел бы предложить... т. е. не я, а вот Пухляков... Он собрал... т. е. не он собрал, а я хотел... т. е. хотел сказать Пухляков... Говорите, г-н Пухляков! Пусть скажет г-н Пухляков! Пусть он скажет, господа, неправда ли? да? Вы согласны?

– Пусть он скажет!

– Пусть говорит Пухляков!

– Пухляков!

– Говори, Пухляков!

Обладатель замогильяного голоса крикнул, поднялся и, держа в руке рюмку водки, обвёл глазами общество.

Все молчали и ждали...

## IX. Где читателю предлагается, для восприятия содержащегося в этой главе, изоцирить и напрячь своё воображение, чтобы представить себе нижеследующее в драматической форме.

### КРАСНЫЙ ФЛАГ или БРАТСТВО ПИСАТЕЛЕЙ.

*(Блистательное представление с чтением, пением, декламацией, протрацией, живым дрессированным псом, котами, бурей, кораблекрушением. и лунным освещением).*

Сцена – та же, достаточно уже известная читателю.

Действующие лица: Нюняк, Мехлюдьев, Махреев, Шалов, Ногтиков, Рыхликов, Пухляков и Нарцис – то же, кажется, уже достаточно известные читателю.

**Пухляков** *(стоит за столом среди развалин закуски, с рюмкой в руке)*. Милостивые государи и... *(оглядывается)* милостивые государи!.. *(Пауза)*. Милостивые государи... Тово... Гм... *(Пауза)*. Времена, который... т. е. просто времена, нынешние времена... гм... времена, которые мы переживаем... совсем другие времена!.. Если мы... тово... *(Вдруг воодушевляясь и продолжая скороговоркой свою речь)*. Если мы оглянемся вокруг и спросим самих себя: что мы видим? Мы ничего не видим! *(Опять угасая)*. Мы... тово... гм... мы... мы прожили хорошие времена и... гм... вступили в эру...

**Ногтиков** *(недослышав)*. Веру?.. Какую Веру?..

**Пухляков** *(смутившись и смотря на Ногтикова, как бы, в остолбенении)*. Как «Веру»?.. Я сказал «в эру», а не «Веру»... *(Пауза, в течении которой оратор успевае овладеть своим красноречием)*. И так... гм... мы живём теперь в плохие времена... совсем скверные времена... Сердец нет, дружбы нет... гм... да... тово... ничего нет, единения нет... *(Внезапно воодушевляясь)*. И вот, мы то же... все врознь... Гм... Не хорошо... Зачем же мы все так вот... смотрим в разные стороны?.. Тово... Нужно бы нам... *(Умолкает)*.

**Рыхликов** *(тоскливо обводя глазами присутствующих)*. Закусить бы всем... А? господа?..

**Пухляков** *(моментально расвирепев)*... Ах, молчи, ты, ради Бога! Ну, чего ты... Вечно с глупостями!.. Совсем с толку сбил!

**Голоса**. Тсс... Молчите, Рыхликов.

**Рыхликов**. Да я ведь знаю, что он хочет...

**Голоса**. Да замолчите же!.. Тсс!.. Что это, право... *(Шум. Иные хватают Рыхликова за плечи. Махреев грозит кулаком)*. Го верите, говорите, Пухляков!

**Пухляков**. Да я, что-ж... Я не могу... Если он будет...

**Рыхликов**. Да будет, Господи, Твоя воля! Я только хотел...

**Голоса**. Тсс!.. Молчать! Ни слова! Молчать!

*(Рыхликова опять хватают за плечи. Махреев зажимает ему рот. Возбуждение всеобщее)*.

**Махреев**. Говорите. Пухляков! Рыхликов молчит! Говорите!

**Шалов**. Говорите, что вы хотели...

**Пухляков**. Да уж, право... Я не знаю... Совсем с толку сбил...

**Махреев**. Я помню. Вы сказали: «Нам нужно»...

**Ногтиков**. И я помню! «Нам нужно»!..

**Пухляков** *(внезапно выпаливая)*. Красный флаг!

**Голоса.** Как? Что такое?

**Пухляков** (*твёрдо*). Красный флаг! Нам нужно выкинуть красный флаг! Мы должны показать... гм... мы должны составить оплот братьев-писателей... Мы все молодые писатели... Того... Наши силы разрознены... да!.. И мы должны соединиться все вместе... Подать друг другу руки... Составить кружок...

**Все.** Кружок!

**Рыхлик** (*вырываясь из рук Махреева*). Моя мысль! Кружок!

**Голоса.** Брзаво! Кружок!

**Ногтиков.** Bravo! Я присоединяюсь!

**Шалов.** И я!

**Нюняк.** Господа! И я! Тоже и я!

**Все.** Ура! Мы составим кружок! Мы должны составить кружок!

**Махреев.** Протянуть друг другу руки!..

**Пухляков.** Братски протянуть!

**Ногтиков.** Подать руку помощи...

**Нюняк.** Господа, позвольте сказать...

**Пухляков.** Соединимся в братство...

**Нюняк.** Дайте сказать!

**Шалов.** Учредить братство...

**Нюняк.** Господа!..

**Нарцис** (*из-под дивана*). Гам, гам!

**Нюняк** (*отчаянно*). Господа, дайте сказать, дайте сказать! Господа!

**Нарцис.** Гам, гам!

**Голоса.** Господа! Тсс... Дайте сказать!

**Нюняк.** Господа! Некоторые мои знакомые, и в числе их одно весьма почтенное, очень почтенное лицо...

**Ногтиков.** К чёгту почтенных лиц!

**Нюняк** (*визжа*). Но это тоже литератор! Он очень милый, хороший и, кроме того, у него связи, знакомства... Насчёт устава...

**Мехлюдьев** (*в первый раз отверзая уста*). А, насчёт устава... То-то, насчёт устава! А как его фамилия?

**Нюняк.** Фамилия... Его фамилия: Голопятов, очень почтенная, старинная фамилия! Да вот что, господа, соберёмся все у него, он так рад будет познакомиться с вами, он так давно желал познакомиться, напр., с вами, г. Мехлюдьев, с вами, Ногтиков, и, словом, со всеми! Это будет так мило, так хорошо! Да, неправда ли, вы согласны, что это будет хорошо?

**Все.** Согласны!

**Махреев.** А когда соберёмся?

**Нюняк.** Да вот на будущей неделе во вторник. Вы согласны, господа?

**Все.** Согласны!

**Нюняк.** Мы соберёмся... ну, хоть, у меня, и все, гурьбой, отправимся... Да, не правда ли? Вы согласны?

**Все.** Согласны!

**Рыхлик.** Господа! Я предлагаю выпить за кружок! Ура!

**Все.** Ура!

**Рыхлик.** Господа! Мы все собратья и друзья! Правда? Друзм?

**Все.** Друзья!

**Рыхлик.** Я предлагаю выпить на ты! Всем вы пить на ты!

**Все.** Выпьем! На ты!

*(Сцена представляет движущуюся живую картину всех действующих лиц, переходящих друг другу в объятия).*

**Махреев.** Господа, не хотите ли, я прочту одно маленькое лирическое стихотворение?

**Голоса.** Хотим! Читай! Читай лирическое стихотворение!

**Махреев** (вынимая из бокового кармана измятый и довольно неопрятный лоскуток бумаги, выходит на середину и, плавно помахивая им в воздухе, скандирует нараспев):

Прильни к моей груди –  
К моей груди прильни;  
Я знаю, впереди  
Нас ждут золотые дни!  
Ты свет моих очей,  
Очей моих ты свет  
И нет тебя милей,  
Милее в мире нет!

**Голоса.** Бра-аво! *(Рукоплескания).*

**Ногтиков** *(Шалову).* Вот ахинея!

**Шалов** *(Ногтикову).* Совсем ерунда!

**Нюняк.** ИИЕт, как это оригинально, господа, заметьте, не правда ли? Чрезвычайно оригинально это изменённое повторение первых строчек! Да? Вы согласны?

**Ногтиков** *(Шалову).* Пгочти ты им свою «Молодость злодейскую», пгочти!

**Шалов.** Ну, вот... Неловко... Как же, так, вдруг...

**Ногтиков.** Господа! Вот Шалов предлагает прочесть своё стихотворение: «Молодость злодейская»!

**Шалов** *(вскакивая и отмахиваясь руками).* Я не предлагаю, не предлагаю, ои врёт!

**Голоса.** Прочти! Прочти!

**Шалов** *(красный, как рак, выходит на середину и, растрепав свою копну, зычным голосом вопиет):*

Ах, ты, молодость злодейская!

*(Все вздрагивают).*

**Нарцис** *(из-под дивана).* Гам, гам! *(Получив пинок ногою, умолкает).*

**Шалов** *(входя в азарт):*

Ах, ты, молодость злодейская!  
Ты куда вся измоталась?  
Моя сила богатырская,  
Где, куда вся разменялась?  
Прежде стоило лишь молодцу  
Головой тряхнуть победною,  
Грудь расправить богатырскую  
Молодецким свистнуть посвистом!  
Все плыло к тебе, валилося,  
Все-то молодцу корилося,  
И красавица-лебёдушка  
На плечо твоё клонилося!  
А теперь – пришло безвременье;

Побелели кудри тёмные,  
Грудь опала богатырская,  
Близок путь к сырой могилушке,  
И сказал бы, да не молвится!  
Спел бы песню – да не ладится!  
И красавица-лебёдушка  
Ко груди моей не ластится!

**Все** (*стука чем попало и обо что попало*). Браво! Бра-аво!!..

**Рыхликов** (*заклячая Шалова в объятия и лобызая его*). Др-руг!

**Пухляков** (*продельвая то же*). Др-руг!!

*(Шалов переходит из одних объятий в другие и, понав, наконец, в объятия Мехлюдьева, надолго замирает на его плече. Tableau vivant<sup>6</sup>).*

**Ногтиков.** Пгедлагаю тост за автога «Молодости!» Все. Ура!

**Рыхликов.** Господа, водки больше нет!

**Голоса.** Не может быть!.. Как же так?.. Это нельзя!.. Нужно выпить!..

**Нюняк.** Есть! Господа! Есть водка! Сейчас будет! Все. Ур-ра!

(На сцене появляется новый графинь живительной влаги, и затем воцаряется нечто, для описания несколько затруднительное. Кольхающаяся масса тел и среди них растрёпанная копна автора „Злодейской Молодости”, как бы, ныряющая в движущемся сплетении рук. Нюняк что-то визжит, но ему никто не даёт говорить. В облаках табачного дыма реет мокрая прядка волос Рыхлнкова, который о чем-то взывает, но голос его пропадает в общем тауме н крике).

**Голос Рыхлнкова.** Господа! Я хочу прочесть сцену из «Скупого Рыцаря!»

**Голоса.** Браво! Читан!

**Голос Ногтикова!** Не надо!

**Голоса.** Пусть читает! Пусть читает сцену!

**Голос Рыхлнкова.** Мне надо простыню!

**Голоса.** Простыню! Дайте ему простыню! Нюняк! Дай ему простыню!

*(Обиций гам и суматоха. Все приятно возбуждены приготовлениями к готовящемуся представлению. Остаются равнодушными только Ногтиков и Пухляков. Они сидят на диване и, положив друг другу руки на плечи, ведут оживлённую беседу).*

**Пухляков.** Народная поэзия... да!.. Родник... Из народа мы почерпаем. только из народа мы почерпаем!

**Ногтиков.** Егунда! Нагод дик и без культугы не может...

**Пухляков.** Народный дух...

**Ногтиков.** Егунда!

**Голоса.** Тсс... Господа!.. Дайте послушать!

**Ногтиков.** Все егунда!

---

<sup>6</sup> Живая картина (*фр.*).



**Голоса.** Тише! Дайте слушать!

**Рыхликов.** *(В простыне, дико вращая глазами).*

Как молодой повеса ждёт свиданья...

**Голоса.** *(У стола с закуской).* «Выпьем! – Дайте горчицы!» – А какие, батюшка, формы!

**Голоса слушающих.** Тсс... Тише!.. Нельзя ли потише!

**Пухляков.** Что ж это, господа? Ничего не слышать!

**Рыхликов.** *(Продолжает, держа вперёд вытянутую ладонь).*

А этот? Этот мне принёс Тибо!

*(Нарцис с радостным визгом бросается на грудь хозяину, тот отбрасывает его).*

Где было взять ему, ленивцу, плуту?

Украл, конечно, или, может быть,

Там, на большой дороге, ночью, в роще...

*(Указывает по направлению к столу с закусками, где отдельная группа собутыльников чокается, пьёт на брудершафт, лобызается и говорит в разбивку, не слушая друг друга).*

**Голос Махреева.** Пустяки! Разрешать!

**Голос Ногтикова.** Дегжите кагман!

**Голос Шалова.** А что, если бы спектакли!

**Голос Махреева.** Эх, чёрт... в соус уронил!

**Рыхликов.** *(Диким голосом, широко разводя полотнищами простыни).*

Я царствую! Какой волшебный блеск!  
Послушна мне, сильна моя держава!  
В ней счастье, в ней честь моя и слава!

**Пухляков.** Не так! Не так!

**Рыхликов.** (*Ожесточённо, à part*). Молчи ты, чёрт!

Я царствую! Но кто во след за мной!..

**Шалов** (*От стола, поднимая рюмку*). А кто вот выпьет со мной?

**Голоса.** Я! Я! (*Образуется группа лиц, с поднятыми вверх рюмками*).

**Рыхликов.** (*Сидя на корточках и потрясая простёртыми! руками, мрачным, замогильным голосом декламирует*):

О, если б из могилы?  
Придти я мог, сторожевою тенью  
Сидеть на сундуках и от живых  
Сокровища мои хранить, как ныне!..

**Все.** Бр-раво!

**Нюняк.** (*Над Рыхликовым, в позе благословляющего*). Прекрасно! Превосходно!  
Неправда ли? Да?

**Мехлюдьев.** (*Внезапно появляясь, колеблющимися шагами, посередине комнаты*). Гм!..  
Я вот лучше песню спою.

Маланья, Маланья, голубка моя!  
Когда же я снова увижу тебя?

**Ногтиков и Пухляков.** (*Подхватывая*).

В понеде-е-ельник!

**Голоса.** Тсс... Дайте слушать!

**Мехлюдьев.** Гм!.. Не хотите?.. Ну, и не надо! (*Мрачно отходит к столу и, сев в уединении, ведёт сам с собою беседу à part*). Св-виньи!.. Поэт-ты... (*Поникает над стаканом с пивом; Нарцис, робко появившись из под дивана, тычет ему носом под локоть*). Вам что угодно?.. А, это ты... Пёс! А хочешь, я тебя тресну? (*Прицеливается*). Нет, я тебе дам колбасы... (*Даёт один ломтик с тарелки, потом сует всю тарелку*). Ешь! Вкушай!

**Нарцис** (*с тарелки*). Тум! тум!

**Мехлюдьев.** Насыщайся! (*Отрезает кусок сыру и протягивает Нарцису. Тот проглатывает*). Ты вор, ты неопрятен, тощ, шершав – но разве люди лучше? Жри! Лопай! (*Отдаёт ему весь сыр, потом ветчину*).

**Рыхликов** (*уже вставший с полу, в чем-то раздираясь перед Нюняком*). Ах, Господи твоя воля! Да неужели же мы не можем быть европейцами!

**Нюняк** (*осовев*). Н-нет, Серафим Петрович... Не м-могу!

**Рыхликов.** Да Господи твоя воля! Эка важность! Отжарим!

**Нюняк.** Не могу!

**Шалов** (*с шапкой на голове*). Прощайте, господа! Я ухожу!

**Ногтиков.** И я!

**Махреев.** Погодите, господа! Я тоже!

**Голоса.** Прощай, Мехлюдьев! Прощай, Нюняк! До свиданья!

*(Все гости гурьбою выбираются в прихожую. Заспанная Матрёна им светит).*

**Голос Нюняка** *(из прихожей)*. До вторника, господа, до вторника! В семь часов!

**Голос Махреева.** В семь часов.

**Голос Пухлякова.** Да пропагандировать надо, пропагандировать! Я ещё скажу кое-кому! Приведу нескольких!

**Голос Шалова.** Н я приведу.

**Голос Махреева.** И я приведу!

**Голос Рыхликова.** Нарцис! Иси!

**Голос Нарциса** *(радостно)*. Гам, гам!

*(В прихожей стихает).*

**Нюняк** *(появляется из прихожей и бросает окрест меланхолический взор)*. Однако, денег, пожалуй, рублей до десяти вышло! А-а-а, как спать хочется! *(Зевает)* Куня! Куничка! Ты спишь! *(Молчание)*. Спит. *(Гасит свечи и скрывается в спальне)*.

*(Сцена пуста. Тишина и мрак).*

**Голос Рыхликова** *(со двора)* Нарцис! Иси!

**Голос Нарциса** *(радостно)*. Гам. гам!

**Голос Ногтикова.** Какая беспокойная тварь! Он мне все ноги отдал!

**Голос Махреева.** А мне лапами перепачкал штаны.

**Голос Рыхликова.** Помилуйте, что вы, господа! Прелестное животное! Ведь он охотничий, чистокровный сетер!

**Голос Ногтикова.** Ну, да, как же! А на что он охотится?

**Голос Рыхликова.** На что угодно! Нарцис! Куш!

**Голос Пухлякова.** На ростбифы преимущественно!

**Голос Махреева.** Дворник!

**Голос Ногтикова.** Дво-о-ог-гник!!

*(Стук калитки. Голоса стихают).*

*(Луна показывается из-за туч и озаряет квартиру Нюняка. Поэт лежит на спине, кверху носом и тихо посапывает. На открытом лбу его блестит светлый блик. Куничка храпит звучно и с переливами. В кухне Матрёна разметалась на ложе, в позе изнеможённой вакханки, и на лице её блуждает улыбка. Она бредит).*

**Матрёна** *(во сне, созерцая какую-то грёзу)*. Рыхликов... Миленький... Миленький... *(Умолкает)*.

**Коты** *(на дворе)*. Мя-я-у!

*(Луна скрывается в тучах. Все опять погружается во мрак).*

**Мехлюдьев** *(один, в своей комнате, поникнув над сапогом, который держит в руках, и качая над ним головой)*. Люди – свиньи!.. Д-да!.. И это вер-рно... Да!. И Скак-к-кунк-ков-ский – свинья! Не пришел, ска-а-атина! Такое ж-животное! Хор-рошо! Я... ему... припомню... Припомню... Пр-рип-помню! *(Прячет сапог под подушку и ввергается в недра постели, как в волны бурного моря)*.

*(Живая картина, которую видит Мехлюдьев. Он на корабле, носится по волнам разъярённого моря. Палуба под ним страшно колеблется. В ушах свист и вой непогоды. Он хватается за мачты и снасти, умоляя небо усмирить грозную злобу стихии, но буря продолжает носить его по волнам. Мало-помалу, однако, море успокоивается. Снова выплывает луна из-за туч и озаряет стены квартиры Нюняка, поэтическую чету, покоящуюся в сладких объёмах Морфея, Матрёну, стол с беспорядочной группой остатков закуски и неподвижное тело Мехлюдьева, мертвенно-бледного, с закрытыми глазами и повисшими на лоб косицами, как у трупа, выброшенного бурей на берег... Прострация. Занавес падает).*

## **Х. Глава краткая и скоропалительная, но, тем не менее, необходимая.**

- Эй, бер-ре-гись!!
- Берегись!
- Осади назад!
- Динь-дилилин-динь-динь!..
- А вот, ладожский приказчик! Господин, купите ладожского приказчика!
- Шары, шарочки!

Писк, визг, гам, восклицания, звонки конножелезки, звуки детских труб и ящичков со стеклянными пластинками, по которым здоровеннейший детина-торговец стучит лучиной, с воткнутой на конце её пробкой... Мелькают усы, ленты, дамские шляпки и шапки, лица в пенснэ и без оных, лица с красивыми и безобразными носами, мелькают лошадиные морды, широкие бороды кучеров, блестящие кузова экипажей и в них смеющиеся детские личики, в позлащённом лучами апрельского солнца воздухе движутся, несомые на игрушечные корабли, фантастические дачи, китайские пагоды, карусели, ещё выше, на фоне голубого эфира, плавно колышутся гроздь красных и синих воздушных шаров.

Вербный торг в разгаре. Тот, кто попал в бесконечный хвост экипажей, выберется оттуда не скоро, кто едет конке – может вдосталь насладиться картиной базара, соскучиться и даже вздремнуть – времени много. И горе тому, кто дорожит временем, как дорожит им, по-видимому, Скакунковский, который едет на извозчике, с портфелем под мышкой, бросает вокруг яростные взгляды и то и дело понукает извозчика; или как дорожит этим временем Мехлюдьев, который сидит на империале конки, тоже бросает вокруг яростные взгляды и постоянно порывается соскочить и куда-то бежать.

Оба они, как две утлые щепки, несутся по одному направленно, в водовороте людского течения. Они не видят друг друга... Но вот, момент, – и извозчик Скакунковского поравнялся с конкой, где едет Мехлюдьев.

– Тс! – слышится призывный звук с империала.

Скакунковский оглядывается направо, налево.

– Тс!

– Стой! – вопит Скакунковский, тыча кулаком в спину извозчика. – Стой! Говорят тебе, сто-ой!!

Он моментально свергается с дрожек. Мехлюдьев стремится вниз с империала. Но на последней ступеньке он получает неожиданно в спину туза коленом от какой-то поддёвки и повисает на воздухе в беспомощном положении, так как эта поддёвка наступила в то же время сапогом ему на пальто. Скакунковский застрял среди экипажей, вопиет и мечется между лошадиными мордами, и положение его тоже не из завидных.

– Пустите, пустите меня! – лепечет бледный, в поту, пробиваясь сквозь толпу на платформе, Мехлюдьев.

– Держи лошадь! Каналья! Держи лошадь! – вопит Скакунковский.

Наконец, ему удаётся проскользнуть под дышлом, в то время как Мехлюдьев, изнеможенный, в испарине, с нависшими на лоб косицами, уже стоит на мостовой, устремив к приятелю обе дрожащие руки.

– Сюда, сюда, на тротуар! – кричит Скакунковский. – Здоров? Всё благополучно? Сюда!

– Здоров! – кричит Мехлюдьев. – А ты что ж это? Надул? А?

Скакунковский хочет что-то ответить, но людская волна разделяет их и отбрасывает далеко друг от друга.

Вон, вращаемая как в водовороте, колыхается во все стороны фигура Мехлюдьева. Вон, там, далеко, мелькнул порыжелый верх котиковой шапки Скакунковского и кончик величественного его носа... Оба исчезли, как бы потонули в толпе, опять вынырнули, снова исчезли, снова вынырнули и очутились опять друг перед другом.

– Что же ты не пришёл? Интересно было! Много народу!

– Спиритизм! Тоже интересный сеанс! Дух какого-то немца-сапожника... Принимали за Шиллера... Разъяснилось, когда он всех нехорошо обругал...

И снова водоворот захлёстывает обоих приятелей; они на некоторое время теряют друг друга из виду, и снова судьба сталкивает их друг перед другом.

– Одной даме духи за корсаж забрались! – сообщает Скакунковский.

– Духи за корсаж вылили! – недоумевает Мехлюдьева. – Вот безобразие! Где ж это было?

– У редактора «Ребуса!» – слышится ему ответ Скакунковского.

– Вот шарики, шарочки! – неожиданно оглушает его с боку мальчишка-торговец.

Мехлюдьева шарахается в сторону и кричит Скакунковскому:

– А мы учреждаем кружок! Приходи, всё расскажу... Собираемся в...

Но в ту же минуту получив здорового тумака в бок от человека, несущего на голове корабль, Мехлюдьева отскакивает в сторону и успевает только заметить испуганное, побагровевшее лицо Скакунковского, попавшее в группу воздушных шаров... Миг – и вся пёстрая связка взвивается на воздух и плавно несётся в глубину ясного неба...

– Ай-ай-ай! Барин!.. Барииин!..

Этот вопль отчаяния излетает из уст мальчишки-торговца. И пока, среди всеобщей сенсации, он вопит и мечется, бессмысленно пяля глаза на эффектно несущуюся всё выше и выше гроздь воздушных шаров, Скакунковский безвозвратно исчезает в толпе...

## **XI. Где изображается благородный, солидный и чиновный страдалец.**

За много-много лет до начала нашего рассказа, (ох, как много лет тому назад!) пансион (с древними языками) благородных лоботрясов выпустил в свет, в числе прочих птенцов, целую серию молодых людей, предназначенных на том ли или на другом поприще общественного служения тем или иным способом облагодетельствовать любезное наше отечество. Судьбе было угодно, чтобы вся эта серия доблестных граждан имела один и тот же корень фамилии, будучи связана узами крови, и отличалась один от другого только различными, более или менее благозвучными. приставками имени.

Так. напр., один из этой серии, молодой человек, назывался Мудропятов и прославил себя в области внешней политики. Другой назывался Слухопятов – и прославился в области политики внутренней... Третий назывался – Голопятов, и что касается до него, то... впрочем, нет, на нем мы должны остановиться подробнее.

У каждого из тех многочисленных лиц, которые были знакомы с Онуфрием Аркадьевичем Голопятовым, при звуке этого имени, возникал в воображении образ худого, длинного, пятидесятилетнего мужа, с тихою, проникнутой достоинством речью, тяжёлым золотым пенсне на желудке, длинными, желтоватыми с проседью нависшими на грудь, в лице двух сплюснутых колбас бакенбардами, грустной улыбкой, обнажавшей беззубые дёсна, и меланхолическим взором одарённых цветом болотной воды, больших, выпуклых глаз без ресниц и бровей... Вот он, как живой! Вот он сидит за своим письменным столом, согбенный, понуренный, обложенный ворохом. каких-то рукописей, и меланхолический взор его неподвижно покоится на бронзовой массивной чернильнице, словно ищет чего-то на дне этой чернильницы, словно хочет оттуда выудить что-то... Вот он медленно поднял из кресла своё длинное тело, протащил несколько раз взад и вперёд обутые в вышитые туфли ноги свои по кабинету, остановился у окна, замер на долго, как бы застыл, устремив неподвижный взор в стену противоположная дома – и в тишине кабинета пронеслись глубокий, подавленный, медлительный вздох и стенанье:

– О, Господи Боже мой!..

И не нужно быть с ним коротко знакомым, наблюдая его только в эти минуты, чтобы понять, что он угнетён и подавлен, что он вечно угнетён и подавлен, что в недрах души он носит червя, который грызёт его денно и ночью и не даёт ни минуты покоя!..

Да, это так. Дело в том, что он, Онуфрий Аркадьевич Голопятов, начальник отделения Х\*\*\* министерства, статский советник и кавалер ордена святыя Анны на шее, имеющий жену и двух дочерей, геморрой и одышку – пока ещё нигде и ничем не прославился, но зато постоянно, денно и ночью, жаждет прославиться, и никак не иначе, ни больше, не меньше, как на одном только поприще... поприще изящной словесности!

О, если бы существовала какая-нибудь литературная академия, имеющая целью приготовление патентованных поэтов и романистов, о, если бы только она существовала он, Онуфрий Аркадьевич, прямо поступил бы туда, засел бы за этимологию и синтаксис, брал бы всем: горбом, послушанием, прилежанием – и, в конце концов, добился бы, добился бы, несмотря ни на что, своего – в сущности очень немногого, но для него столь вожделенного – обладать правом иметь всегда при себе и раздавать направо и налево всем. безвозмездно, одну очень небольшую вещицу – две коротеньких строчки, напечатанных на маленьком, четырехугольном кусочке великолепной, глянцевиной бумаги, проект которой давно уже созрел и носится в его голове. Вот что, именно<sup>7</sup>:

---

<sup>7</sup> Онуфрий Голопятов – литератор.



Только этого, только этого одного и хотел бедный, молчаливый страдалец, мечтавший о лаврах писателя и испытывавший всё время одни только тернии, в своих упорных обиваниях редакционных порогов, и тасканиях рукописей, написанных тщательным почерком на роскошной, министерской бумаге, из квартиры к редакторам и обратно!

Рукописи все эти носили один и тот же характер изображения унылой полярной природы и полудикого быта вогулов, остяков, самоедов и других инородцев. В них, в самом идиллическом, в самом пасторальном виде изображались одни и те же два влюблённые друг в друга существа, какие-нибудь Педдер и Оде, готовящиеся в каждую минуту совершить пантомим любви на самом неудобном для этого месте – на льдине полярного океана, на днище разбитого бурей и замёрзшего корабля, в пасти мёртвого кита, наконец! Целые стопы бумаги были заняты трогательными повествованиями об этой парочке, всплывшей друг к дружке страстной любовью и подвергающейся всяким гонениям со стороны свирепых родителей и белых медведей, причём последние всегда оказывались и мягче, и добросердечнее...

– Ну, скажите на милость, на кой чёрт вы суёте нам самоедов?! – восклицал какой-нибудь, вышедший из терпения, откровенный редактор.

Onoufry de Golopyatoff (Homme des lettres) скорбно опускал глаза свои долу, брал злополучную увесистую рукопись и, уложив её тщательно в изящный сафьянный портфель с вытисненными на нем золотом своей монограммой и дворянской короной, совершал унылое течение с нею домой, где перезрелые дочери его: Людочка и Липочка, зайдя в папашин кабинет и заглянув в сафьянный портфель, в один голос, восклицали печально:

– Папаша! Опять не приняли?!

– Не приняли. не приняли, дети мои! Я вам говорил. что без протекции ничего не поделаешь! Без протекции, как в нашем (тьфу, я сказал в «нашем!») чиновничьем мире, так и в литературном, шагу ступить нельзя. – «Кто вам протезирует?» – «Толстой!» – «Баста! Вы приняты!» Вот оно что, дети мои! – заключал печально папаша.

– Папаша! – восклицала Людочка, более смелая и сама пытавшая силы свои на поэтическом поприще, – по как же добиться протекции? Боже мой, как же добиться протекции?

– Знакомства, знакомства нужны. Людочка, знакомства с литераторами, вот что! Видишь ли, друг мой, у нас, например, уже есть один очень, очень талантливый молодой поэт Нюняк. И вот, я его просил познакомить... привести... вообще... ну, ты понимаешь...

– Понимаю, папаша... Но когда же он приведёт литераторов? – спрашивала смелая Людочка.

– Когда, когда... Гм!.. Почём я знаю, когда?..

– Ах, хотя бы он поскорей их привёл! – восклицали уже обе девицы, озаряясь мгновенной надеждой, что не найдётся ли, хотя среди литераторов, давно уже втайне желаемый «он»...

И вот неожиданно, в одно прекрасное апрельское утро почтальон вместе с газетами и письмами, подал в квартиру Голопятовых такого содержания записку:

Милостивый Государь.  
Онуфрий Аркадьевич!

Приятным долгом считаю известить Вас, что во вторник, на будущей неделе, я с некоторыми из моих знакомых молодых писателей нагряну к Вам, чтобы провести вечерок в *дружеской* (подчёркнуто) литературной беседе.

Ваш Х. Нюняк».

Онуфрий Аркадьевич быстро выплюнув конец бакенбарды, которую он имел привычку жевать во время какого-нибудь сосредоточенного процесса мышления, сверкнул глазами и воззвал звучным голосом:

– Жена! Дети!

В дверях кабинета бесшумно появились три женские фигуры.

– Слушайте!.. Все!. – взволнованным голосом, начал папаша. – Вот я сейчас получил письмо от Харлампия Густавовича! В этом письме... Да вот, я лучше прочту!

Онуфрий Аркадьевич с чувством, с толком, с расстановкой прочёл записку поэта.

– Теперь. – продолжал Голопятов торжественно, – от вас, Варвара Петровна (он внушительно посмотрел через пенсне на то место, где сидела жена), и от вас (кивнул он дочерям) зависит, чтобы почтенные гости наши были приняты подобающим образом! Не забудьте, что все они – литера-то-ры... (Онуфрий Аркадьевич торжественно поднял кверху указательный палец и медленно им погрозил). Печатавшиеся литераторы! Признанные публикою! Их читают и печатают в разных журналах. Между ними будут, конечно, романисты, поэты... (Онуфрий Аркадьевич стал мало-помалу погружаться в задумчивость). Многие из них пользуются литературною славой... (Онуфрий Аркадьевичи всё более и более погружался в задумчивость). Многих из них я знал тогда, когда они только-что начинали свою литературную деятельность... Их слава... Я не знаю точно, пользуются ли они славой... Я даже сомневаюсь, чтобы они... того, вообще... Я должен сознаться: я их не читаю... Но, увы, такова судьба. – они известны, они печатаются, а этого уже довольно. Они печатаются и могут устроить, понимаете, Варвара Петровна, устроить так, что и их знакомые будут печататься... Этим шутить нельзя! Вы понимаете?

Онуфрий Аркадьевич замолчал и поник, совсем погрузившись в задумчивость. Варвара Петровна, Людочка и Липочка бесшумно поднялись с своих мест и также бесшумно исчезли из кабинета...

Людочка прошла в свою комнату, где ждала её на столе изящная тетрадь в голубом переплёте, с вытисненной золотом надписью: «Poesie». а Липочка и Варвара Петровна, выйдя в гостиную, посмотрели одна на другую, и обнявшись, в один голос прошептали:

– О, эта литература... Проклятая...

И обе затем понуро разошлись.

Людочка же села за письменный стол, развернула тетрадь в голубом переплёте, отыскала страницу, где было написано три коротеньких строчки, с выведенным крупными буквами сверху заглавием: «К птичке, которую я видела мёртвой на улице», взяла перо с инкрустациями из перламутра, погрузила в чернила и меланхолично – задумалась.

Она не проклинала литературу, как мамаша и Липочка – о, нет, тысячу раз нет!.. Напротив, она, как и папаша, любила её, с тою лишь разницею, что тот начинал уж отчаиваться достигнуть когда-нибудь благоприятных для себя результатов, а она не теряла уверенности стать поэтической звездой, чем-нибудь в роде российской Ады Кристен.<sup>8</sup>

И отчего бы ей не сделаться такою же, как Ада Кристен? Та девица, и она девица. Та из благородного семейства – и она тоже! Та нельзя сказать, чтобы очень была молода – и она тоже в возрасте. А что самое главное – это чувство. О, у ней очень много чувства!.. Да, наконец...

<sup>8</sup> Ада-Кристен (нем. Ada Christen – псевдоним, наст. имя Кристина Бреден) – австрийская писательница и поэтесса. Лирика Ады Кристен была очень популярна среди русских читателей и переводчиков 1870-х годов; ее стихотворения переводили Михаловский, Плещеев, Ф. Миллер, Прахов и др.

Людочка досадливо топнула ножкой, обутой в изящный бронзовый туфелек и до крови закусила губку: «Да, наконец, разве боги горшки обжигают? Разве очень много для этого нужно? Немного счастья, удачи и смелости, всё остальное приложится.»

А Онуфрий Аркадьевич сидел в кабинете, устремив задумчивый взор на записку Нюника, и на него, со стены смотрели портреты знаменитых писателей... Безмолвие царило вокруг... И вот, среди этого безмолвия опять послышался глубоко сокрушающий вздох и протяжке, глухое стенанье:

– «О, Господи, Боже мой!»...

Впрочем, этот вздох и это стенанье явились в силу стародавней привычки.

Вслед затем, морщины на челе Онуфрия Аркадьевича быстро изгладились; он повёл плечами, бодро выпятил грудь, заложил руки в карманы и бойким петушком прошёлся по комнате...

Очевидно, какая-нибудь новая мысль озарила вдруг его голову.

## ХII. На мрачном небосклоне страдальца восходит звезда.

С тех пор, как Онуфрий Аркадьевич получил записку Нюняка, в обычную программу его жизни (выражаясь высоким слогом) вошёл элемент совершенно нового свойства. В сущности, всё оставалось по старому, и жизнь статского советника текла раз навсегда заведённым порядком, а между тем, стоило теперь наблюсти его в иные минуты, что бы заметить какую-то происшедшую в нём перемену.

Не слышно уже было прежних тяжких вздохов и восклицаний: «О, Господи, Боже мой!» Хотя он по-прежнему проводил большую часть времени в своём кабинете, однако, времяпрепровождение это приняло совершенно особый характер.

Кабинет Онуфрия Аркадьевича представлял собою огромную, мрачную комнату, с окнами во двор, большими письменным столом, заваленным горами книг и рукописей, книжным шкафом в углу и стенами... О, что касается стен, то эти последние настолько замечательны, что стоит сказать о них несколько слов.

На первом плане вас поразила коллекция портретов знаменитых писателей, развешанных в самой строгой симметрии... Впрочем, это не важно. Какой же кабинет литератора мыслим без портретов собратьев? Гораздо интереснее были другие предметы, украшавшие стены. Несколько полочек поддерживали группу статуэток, изображавших типы северных инородцев, вокруг, в самом прихотливом сочетании, лезли на вас ветвистые рога оленей и лосей, грозно торчали копья, колчаны и стрелы, а с другой стороны простирали объятия звериные шкуры костюмов самоедов, остяков, камчадалов...

О, сколько уж лет все эти предметы были немymi и равнодушными товарищами безрадостных дней хозяина этого кабинета и свидетелями его душевных терзаний во время служения музам!.. Они и теперь его созерцали... Они созерцали его и всё более и более проникаясь удивлением, тихо шептались между собою:

«Гм... Что это с ним?.. Что-то, кажись, как будто не ладно... Совсем на себя не похож!»

Онуфрий Аркадьевич действительно, не походил на себя. Он мечтательно раскинулся в кресле и, положив ногу на ногу, игриво помахивал правою, обутою в мягкую туфлю. Взор его был светел и ясен... По лицу блуждала улыбка... Он поверял свои сокровенные думы безмолвным свидетелям.

Да, вот, наконец-то, близится то, о чем так долго, мучительно и упорно мечталось! Довольно!.. Конец неудачам!.. И на его мрачном небосклоне восходит звезда! Пусть его новый роман из быта камчадалов постигла неудача... Он спрячет его на полку этого шкафа, вместе с десятком других подобных романов и примется с помощью Божьей за новый роман из быта алеутов!.. И когда удастся пристроить этот роман, тогда один за другим можно будет спустить и все прежние... О, да, непременно! Всё ведь дело в протекции! Сколько уже лет он ждал этой протекции! Он не искал её, нет, не кланялся, не унижался, потому что он горд... Он ждал терпеливо, когда придёт на выручку благодетельный случай... Он был уверен, что этот случай наступит. И вот, этот случай вдруг наступил! Наконец! Наконец! Надежда не обманула его! И вот теперь... с этих пор... О, что должно произойти с этих пор!!!

И Онуфрий Аркадьевича крякал, выпячивала грудь и обводил победоносным взором своих безмолвных свидетелей.

«Сомнительно... – шептали портреты знаменитых писателей. – Сомнительно, чтоб так это случилось!»

«Не верится что-то!.. Ох, что-то не верится!» – вздыхали на полочках камчадалы, остяки, самоеды.

«Вздор! Всё вздор на свете! Всё дело в протекции или в удаче!» – восклицал Онуфрий Аркадьевич, снова выпячивал грудь, вставал и прохаживался по кабинету.

Между тем, назначенный поэтом с древесными псевдонимами день приближался. Уже заранее в квартире Голопятовых стали происходить экстраординарные вещи. С утра подымалась возня прислуги, под непосредственным наблюдением самой Варвары Петровны, занимавшейся приведением в порядок каждого уголка, каждой самой незначительной вещички. По несколько раз перетряхивались и переколачивались драпировки, ковры и тяжёлые салфетки, сметалась паутина в таких местах, куда никоим образом не мог заглянуть глаз постороннего... Словом, близился торжественный день!

Метёлка и щётка воцарились в квартире Голопятовых, самым деспотическим образом гоня с места на место её обитателей. Беспрестанно Онуфрий Аркадьевич, погружённый в мечтания, бывал принужден покидать это занятие, так как в дверях кабинета внезапно раздавался голос неумолимой горничной Кати:

– Барин, пожалуйста отсюда! Нужно форточку у вас отворить!

В то же самое время, в другом конце дома слышался раздражённый голос Варвары Петровны:

– Ах, Людочка, убери ты, ради Бога, свои тетрадки! Видишь, ведь, что тут надо стереть!

Людочка нетерпеливо топала ножкой, так как голос мамы прерывал её в самый разгар поэтического творчества, потому что она, как раз, в эту минуту грызла кончик своей украшенной перламутром ручки пера, придумывая новую строфу к начатому на днях стихотворению, начало которого глядит на неё с глянцевиной страницы переплетённой в голубую шагрень тетради, хранящей плоды её музыки:

**К птичке, которую я видела мёртвой на улице.**

О, птичка бедная моя,

Тебя я вижу на чужбине!

На север свой полет стремя,

Ты думала ль о злой судьбине?

Полна восторгов и любви,

Ты щебетала всё: „тви, тви!“

И вот, на севере глухом...

Как раз, на этом месте, голос несносной мамы и прерывал нить её поэтических дум!

Людочка закрывала тетрадь и выходила в гостиную, где лакей Никанор, в позе Колосса Родосского, с красивым, напружинившимся словно перед аполексией лицом, держал в объятиях снятую со стены картину, между тем как успевшая уже окончить своё дело в кабинете быстроногая Катя ёрзала щёткой по тому месту стены, где висела картина, распространяя по комнате облака серой пыли.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.